

Др 84

К 69

Николай
КОРСУНОВ

СМОТРИНЫ



**Николай
КОРСУНОВ**

СМОТРИНЫ

**Повести,
рассказы,
былое**

**Оренбургское книжное издательство
2002**

СМОТРИНЫ

1

На воле свежо и звездно. И тишина. Кажется, мир тих до самоотречения.

Ан нет! В своей конуре громыхнул цепью Полкан, учуяв вышедшего хозяина. Вылез, сладко потянулся, еще слаще зевнул, доведя зевок до длинной стонливой ноты. Понюхал пиджак, накинутый на хозяина, повилял хвостом и вновь залез в конуру. На ближнем дереве проснулась горлинка. С минуту рассерженно укула в гнезде: «ур, ук-р-р!» Будто где-то в отдалении машина пробуксовывала. Ни с того ни с сего, казалось бы, начали орать петухи — кто кого перекричит. Последним проорал крайновский петька, он у них горлопанистый, словно ротный старшина, — с другого конца поселка слышно, как крыльями хлопает и прочищает горло. И снова — великая вселенская тишина. Чумаков постоял середь двора, ни на чем не останавливая взгляда, ни о чем особенном не думая. Так себе, легкие мысли, словно пустой невод. Проснулся, дескать, от утробного краткого гула (полая вода обрушила глыбу яра близ дома), а свежо, потому как дело уже к восходу, хотя на восходе свету пока натаяло — воробью не напиться, поселок добирает последние, самые медовые сны, а ему, Чумакову, спать уже не хочется, верно, старость близится, старые люди мало спят.

Зябко стянул на животе полы пиджака и повернул в избу. Ложиться не стал. Не зажигая света, застрекотал в кухне электробритвой, беря щетину на ощупь.

Умылся и вышел на ступеньку крыльца покурить.

Той же минутой в кухне вспыхнул свет. Зажурчала вода, звякнула посудина. Ясно: Филаретовна ставит чайник на газ. Хлопнула дверцей холодильника — масло достала. Ей тоже не спится. И у нее сегодня накоротке сон. Слышал, как ворочалась да вздыхала. Дело, конечно, не простое: смотрины, а там, глядишь, и свадьба. Онькин жених должен приехать нынче. Эка,

скажи, пожалуйста, жених, зять! Глянем, что за сокола-беркута отхватила! Свои, поселочные, табуном ходили за ней — никого на дух не надо, а тут — на тебе. Поехала в район на бухгалтерские курсы да там и врезалась по самые жаберки в какого-то механизатора широчайшего профиля. Какой-то наезжий, из-под самого Минска будто бы. Хотя и широчайшего профиля, а, похоже, ни кола ни двора, ни внести ни вынести. Когда намекнул об этом Оньке, так зыркнула глазищами, что далее ему, отцу, и говорить расхотелось. Просто непонятно, отчего вдруг заробел перед ней. Филаретовна шепнула: «Ты уж не встречай, Ларионыч, я сама дощупаюсь до всего...» Шиш! И ей доченька отпела: «Если выйду — только за Артема!» Всегда уважительная такая, а тут — выпряглась. Не зря, верно, говорят: любовь зла...

Ладно, посмотрим, что он из себя, тот Артем. На то и смотрины. Пока что все его здесь ждут, правда, по-разному: кто с радостью, кто с любопытством, кто с тревогой. Филаретовна домашний торт на меду испекла, по собственному рецепту. Возлежит на столе в горнице, огромный, как мельничный жернов. Тоже гостя ждет.

В осиянных звездами кустах сирени за палисадником вдруг запел соловей, видно, молодой, не уверенный еще в себе. Запел, поперхнулся, смолк на минуту, будто воды глотнул из стакана, горло прополоскал. Вновь защелкал, свежо, сильно, прочищенным голосом.

Чумаков расслабленно улыбался:

— Наш, нашеньский... Из заморских краев вернулся... Там, в сирени, у них и в прошлом году гнездо было...

Отворилась дверь сенцев, электричеством осветив широкую, сутуловатую спину, седой загривок сидящего на ступеньке Чумакова. В проеме остановилась Филаретовна в сатиновом халате с коротким, по круглый, полный локоть рукавом.

— Гриньку будить, что ли? Чай поспел...

— Буди.

Гринька вскочил в одних трусах, бегом сделал два круга по двору, за ним охотно увязался Полкан, звеня по

проволоке цепью. На самодельном турнике в дальнем конце подворья покувыркался минуты две, вернулся запыханный, веселый.

«Хил постреленок, — с легкой укоризной, но любовно подумал Чумаков о сыне. — Турник придумал, бегают... Мышцы накачивает. В мореходы, слышь, слабых не берут... Вот пойдем сети проверять, накачивай, сколь хошь, на веслах с Уралом тоже потягаться не всяк сможет...»

— Айда, умывайся да пошли чай пить, — сказал он мягко.

— Слушаюсь! — дурашливо козырнул мальчишка.

После завтрака Гринька распахнул половинки тесовых ворот, залюбовался акварелью восхода, дымчатым разливом реки. Разлив нынче велик. По всему низкому левобережью деревья вошли в него, как язычники на крещение. Воздух свеж, пахнет снеговой водой, нежным ароматом цветущего сада, цветущей сирени, с каждой секундой полнится птичьим щебетом.

Хорошо жить на свете!

Кинул к просветлевшему небу руки, ломающимся голосом продекламировал какие-то стихи, может, сам придумал:

В шар земной упираясь ногами,
Солнца шар держу над головой...
Так и стою меж двумя шарами —
Солнца шаром и шаром-Землей!..

— Хватит карг считать, — урезонил его Матвей Ларионыч, выкатывая из-под навеса тяжелый мотоцикл. — Ехать пора.

Гринька виновато метнулся к мотоциклу, покрутил рукоятку газа, открыл бензиновый краник, резко толкнул ногой заводной рычаг. Мотоцикл хлебнул предутренней свежести, заревел по-дурному, радостно, булгача собак, но Гринька сбросил обороты, и он заворковал тихо, мягко.

Матвей Ларионыч плотно закрыл ворота, забрался в люльку. Гринька сел за руль.

Повиляли меж кустов и деревьев поймы и воткнулись в густые заросли молодого осинника. Затолкали в них мотоцикл. Взяли припрятанные весла и по некрутому уклону, хлопая отвернутыми голенищами болотных резиновых сапог, спустились к воде. Тут ослепли от легшего на воду тумана. Но все же будару, как уральцы называют лодку, нашли на своем месте — под нависшим до самой воды кустом тальника. Гринька поплескал на уключины, чтоб не скрипели, отец не любил этого. Вода холоднющая и мутная, словно кулага, которую мать иногда варит из ржаной муки. Она и отец хлебают эту кисло-сладкую бурду, ложки облизывают, а Гринька с Оней лишь посмеиваются над родительской прихотью. Отец сердится: «Поулыбываетесь? А нас кулага вроде б в детство кидает, не было лакомства слаще... Избаловала вас советская власть!»

Сели. Гринька к веслам, отец — на корме. Отец сосредоточенно курил, положив на колени короткое рулевое весло, Гринька незаметно для него поеживался от сырости. Река величественна и молчалива, как ночь в степи. Солнце, похоже, взошло, но оно незримо за клубящимся белым туманом. Туман нехотя отрывается от воды, нехотя отодвигается, обнажая прибрежные кусты, теряя в них седые космы. Но вот с уклона шугнул ветерок, кучерявый ивняк морозно взблеснул изнанкой листа, туман дрогнул, заволновался, начал истаивать, рваться.

— С богом, — негромко говорит отец, выплевывая окурок и отталкиваясь кормовиком от берега.

Гринька налег на весла. Будара отвалила от глинистой кромки и сразу же попала в мощное течение. Продрогший Гринька, казалось ему, играючи управлялся веслами, шумно шлепал ими по воде. Хотелось, чтоб в эту минуту увидела его с высокого бережка одноклассница Лена, увидела б и подумала: «Какой он ловкий и сильный, настоящий казак!» Кинул взор на берег — пустынен, лишь одинокие тополя перекипают молодой листвой. И это только казалось ему,

что гребет он ловко, упористо, на самом же деле будару несло почти у самого яра и они никак не могли оторваться от него.

Отец кинул сдержанно, недовольно:

— Чево частишь, чево частишь? Далее заноси веслати, далее, не спеши.

«Все-таки хорошо, что не видит Лена! — Гринька начинает грести реже, машистее, выравнивает дыхание, чуточку досадует на отца: — Мог бы и гребануть разок-другой кормовиком, подсобить! Знай, поруливает... Умри — не поможет... Еще и осмеет, если что: какой же ты, дескать, уралец! А я просто отвык, в этом году отец ни разу не брал с собой, мол, у тебя десятый класс, выпускные на носу... Хорошо бы с мотором, да отец и слушать не хочет, дескать, что мотор, что сорока — одна сатана: оба выдают себя стрекотом, где б ни находились. А с мотором бы — хорошо... Лену прокатить!..»

Он поплевал в пылающие ладони, с новой силой рванул весла. Мало-помалу ему удалось справиться с бударой, она оторвалась от побережья и выкатилась на середину, на самое лихостремье. Оно с ярим усердием выматывало силы. Кажется, что лопасти не в воду входят, а в пластилин — так туги речные струи. Глянуть вправо-влево некогда. Видишь лишь свои прыгающие перед глазами мокрые кольца чуба да широкие, как морда сома, носки резиновых бахил, упертых в поперечную планку будары. То и дело приходится сдувать с кончика носа набегающие капли пота.

Вскоре будара пошла легче, бойче. Теперь Гринька имел время оглянуться. Оглядывался с удовольствием, будто сзади была стенка с отметинами, по которым видел, как быстро растет.

Яр просматривался далеко-далеко, а поселка за глубокой излучиной не было видно совсем. Будара острым свежеосмоленным носом бурунила медленные воды луговой поймы. Отец выправлял лодку навстречу этому умиротворенному меланхоличному течению.

Изловчась, цепко ухватился за тальниковый куст, утопленный половодьем по самую маковку.

— Айда, делай роздых. А то, поди, скоро лизун-язык набок вывалишь.

Сам-то он, похоже, не очень упарился, но все же стащил с седой гривы драповую кепку, рукавом вытер лоб и устья влажных залысин. Не выпуская куста, свободной рукой сунул в зубы сигарету, по зажатому меж коленей коробку чиркнул спичкой, выдохнул дым:

— Сейчас хорошо, не шибко жарко. А летом жара одолевает и комара полно. — Пощупал глазами табунящиеся по воде бледно-зеленые перелески, отыскивая тот, осокоревый. Далече маячили его вершины, засиженные гнездами грачей. Грести да грести до него! Взглянул на измочаленного сына, ухмыльнулся: — Как, тронемся, что ль? Может, поменяемся? Ну ладно...

Гринька понял его ухмылку. Он с остервенением впрягся в опостылевшие весла, зачастил ими, при каждом ударе взбивая млечные сполохи. Отец сноровисто правил между кустов и деревьев, всегда вовремя упреждал, если ветка или сук могли задеть веслового. Он правил к Завидову еричку. Сейчас на том месте неоглядный плес, а по спаду воды меж тальников ручьится ерик, берущий начало в дальней старице. Туда, к старице, и прет на икромет всякая рыба. Там и поставил вчера Матвей Ларионыч свои сети. Поди, навязло в них, как грязи!

Вот наконец и миновали приметный осокоревый лесок. Гринька опустил весла и оглянулся, сквозь переплетение ветвей увидел широкое солнечное разводье с длинными утренними тенями. Водную поляну из края в край мережила черная оспа поплавок. Они то дрожали как в ознобе, то вдруг начинали прыгать, нырять — сети полны рыбы. По торчащим кольям Гринька сосчитал: пять сетей.

Отец подрулил к ближней, наклонившись, цапнул верхнюю подвору, приподнял. В ячейх квадратными

зеркальцами вспыхивала и лопалась вода. Отец еще выше приподнял сеть, и над водой забился огромный жерех, взбивая ореол из брызг.

— Ну с богом, Гриня, — счастливым шепотом сказал Матвей Ларионыч.

Гринька выдернул весла из уключин, сунул в нос лодки позади себя, чтобы не мешали переборке сетей. Тоже схватился за подвору, приподнял: широкий, как лопата, лещ неистовым трепыханием обдал его брызгами с головы до ног. Гринька перевалил рыбину через борт, начал выпутывать. Лещ дергался, плямал круглым, вытянутым вперед ртом, очумело двигал выпуклым черным глазом в оранжевой окаемке. Не просто выпутать из ячей большое, скользкое, сопротивляющееся тело так, чтобы не порвать нитей. Из-под жаберных перламутровых крышек уже засочилась кровь, зеленый борт измазался желтой икрой, выдавившейся из леща, белесой рыбьей слизью. Жалко леща: как он, должно быть, страдает сейчас, как ему больно и удушливо.

Наконец высвободил, шлепнулся он к ногам, изгибаясь, подпрыгнул несколько раз, еще на что-то надеясь. Гринька посмотрел на него скорбно и сочувственно, дыханием согревал занемевшие руки.

— Пошшшевеливайся, пошшшевеливайся! — недовольно прошипел отец. — Еще и за дело не брался, а уж в коготки дуешь...

Гринька торопливо сунул руки за борт. Вода бешено холодная. Постепенно руки привыкнут к ней, но до той минуты их зверски скрючивает, в концах пальцев такая боль — хоть плачь. А из воды высовывается крокодила пасть здоровенной щуки. Господи, как она запуталась! И зубами, которых, наверно, с полтыщи, и жабрами, и плавниками! Веретеном, наверно, вертелась, словно всю сеть хотела на себя намотать. Ну, эту не жалко, икру она давно выметала, а тут разбойничала — на ощупь чувствуется, что в брюхе штук пять чебачков да язишек. Как тебя выпутать, пиратку?

В пальцах боль несусветная, а Гринька вдруг разулыбался. Гринька не мастак хранить свои мысли, они у него на конопатом лице заглавными буквами написаны. Однако отец, взглянув на него, настораживается:

— Ты чево?

— А, так! Вспомнил, как у тебя москвичи ножницы просили...

Матвей Ларионыч тоже улыбается. Мир не без чудачков! Было это года три-четыре назад. Под уклон лета Матвей Ларионыч взял трудовой отпуск и поселился близ Урала, на этом вот Завидовом еричке. Тут у него были бахчишки, картошка. Тут и рыбешкой промышлял. А невдалеке москвичи-отпускники две палатки натянули, целыми днями купаются да удочкой пескарей с чебаками из Урала таскают. Смех, а не рыбалка! Кликнул их как-то: рыбки хотите хорошей? Прибежали. Кивнул за лачужку, где бросил мокрые сети с невыбранной рыбой: набирайте, слышь, сколь нужно. А сам прилег на топчане в прохладной, вкопанной в землю лачужке. Через время один из москвичей надвое согнулся в дверном проеме: «Дядя Матвей, у вас ножничек нет?» Как — нет, есть. Дал и опять лег. Опамятовался вскорости: а зачем им ножницы? Бегом за лачужку! А москвич сидит на корточках перед сетью и ножницами обстригает нитки на запутавшемся судаке. Да чего ж ты, паразит, делаешь?! А тот еще и не понимает: как же, мол, иначе, он, слышь, вон как запутался, да и больно ему, если по-другому... Чтоб тебе на того судака голым задом сесть!

Смешно, конечно, да не шибко: москвич успел таких дыр навыстригать в сети, впору выбросить. Ну чудак, право, вот чудак, аппетит — шире рта, а соображалка — уже ноздри!

Отяжелела будара от вынутых из сетей жерехов, судаков, лещей, чехоней, язей, щук, веселила сердце Матвея Ларионыча: «Хорррош уловец!» А загляд его — вперед: недели через полторы или две из Каспия поперет

на икромет севрюга, вот уж тут не зевай, Ларионыч, уж тут не будь дураком-губошлепом. «Не прозеваем! — шепчет сам себе Матвей Ларионыч и в хищноватой ухмылке щерит свои железные зубы. — Мимо рта не пронесем...»

2

Решив выселиться из родительской мазанки, Чумаков выбрал место для нового дома на окраине села, поближе к Уралу, выгнувшемуся здесь подковой. Старики не одобрили выбор: «Урал кажин год рвет яр на этой загогулине, доберется до твоего дома, Ларионыч». Он и без них хорошо знал про это, ослабил: «С полста лет понадобится Уралу, чтоб взять меня! А полста я не собираюсь жить, духу не хватит. Детям? Молодежь к иначим удобствам тянется, чтоб вода горячая, чтоб печку не топить, чтоб нужник теплый... А я свой век в саманухе доверстаю!»

И выложил дом большой, толстостенный, из хорошего самана. Смотрел он тремя окнами за палисадник, на Урал, на зауральную азиатскую даль, а четырьмя, из-под козырька длинной просторной веранды, — во двор. Клуб, а не дом. И полы в нем из доски-семидесятки, на все двести лет, никакими каблуками не прошибешь, если загорится какое веселье.

Сегодня жизнь в доме стронулась с устоявшегося ровного порядка, как приржавевшая гайка с резьбы. Как же, жених приедет! Смотрины взаимные! А там, глядишь, и свадьба без отклада. Филаретовна ставит на газ кастрюльки, щиплет ошпаренных кипятком кур, в печь сажает сдобные хлебы, гремит посудой. Оню не подпускает: сама управляюсь! А мыслями Филаретовна... Мысли ее о свадьбе, которую, чувствует сердце, и на кривой бударе не объедешь. Да и ладно, да и слава богу, был бы тот Артем человек хороший! Лихорадит иная забота: как бы их свадьба не оказалась беднее, чем у председателя сельпо Вавилкина, отдавшего на масленице свою лупоглазую Женьку за патлатого экспедитора из

Уральска. Женька-то — ни в какое сравнение не идет с ее, Филаретовны, лебедушкой. Да и в кого Оне плохой удаться? Филаретовна — женщина важеватая, пышная, «сдобная», как говаривали завистливые казаки, глаза коих любят пастись в чужом стаде. Все она делала не торопясь, с заглядом вперед, все как бы со значением, не понять каждому. Давно сложила себе цену, за медь не сторгуешься.

Хотя Оня и важеватая, уравновешенная, как мать, хотя и цену себе тоже правильно сложила, но и ее сегодня лихорадит, и она, как мать, мыслями вперед дел забегает. В своей комнатке она уж час или более топчется перед распахнутым шифоньером, перед его овальным зеркалом, вделанным в заднюю стенку дверцы, то наденет одно платье, то другое, то одну кофту, то другую, то сарафан, то импортные джинсы, и все никак не угодит себе, никак не понравится своему глазу-придире. А сама, ну вот как через стеклышко, видит себя за свадебным столом, под белой фатой, красивую, недотрожливую. С закрытыми глазами как бы ощущает на себе взгляды мужчин и женщин, в воспоминаниях своих, верно, переживающих тот свой давний день обручения, своей свадьбы. Словно бы рядом чувствует Оня крепкую руку Артема, нетерпеливый поворот его к ней, Оне, когда гости кричат «горько». Морозно и жарко становится ей, улыбается она своим грезам и страхам. И уже представляет, как уедет с Артемом из родного поселка, быть может, навсегда уедет, как будут они вить свое гнездо, как она будет провожать и встречать Артема с поля, веселого, всегда смеющегося, пропахшего машинами, пылью и степью...

Это все — потом, потом. А сейчас волновала скорая встреча с Артемом, волновали смотрины — понравится ль мамане с папаней? Конечно, понравится! Переступит порог с мягким, смущенным «здравствуйте» или даже с поклоном, как водится у здешних стариков, и маманя удовлетворенно шепнет на ушко: «Молодец, дочка, не

только глазами выбирала!»

И почему это Катерина задерживается? Никто же лучше нее не скажет, какой наряд нынче Оне к лицу. С детства — не разлей водой, остряки называют ее Катькой-адъютантом. Потому что от Оне она — ни на шаг.

Понадергивала на деревянные плечики платья-кофты, захлопнула дверцы: чего вырядаться, собственно говоря? Артем все равно не оценит. Сказал как-то смеясь: «Спроси у меня через пять минут, в каком платье, в каком пиджаке был человек, убей — не вспомню. А вот лицо даже случайного знакомого и через десять лет не спутаю с другим. Странная какая-то память, правда?» Конечно, странная. Чутьочку досадно, у нее такие платья да кофты, ну да ладно, с эдаким недостатком можно мириться.

Оня подходит к открытому окну — не бежит ли Катерина? Через окно из палисадника тянулись в горницу благоухающие кисти сирени. Оня откинула тюль занавески, припала к ним лицом, навдыхалась свежей духмянности до легкого головокружения, потом отвела ветку, вглядываясь в улицу: где же ты, Катюша? Ходил-бродил народ по воскресной улице, стайкой пропорхнули девчата, они еще белоноги и белолицы — весна. Кучкой стояли парни возле нового Дома культуры, оттуда наяривала радиола. По воскресеньям она с утра до ночи не смолкает. Был пустырь, а на нем взяли да сгрохали Дом культуры, расстроив Ониного папаню. Он ковырял начальство притворным беспокойством: «Свалит его под яр, чем думаете?!» Начальство утешало: доберется Урал нескоро, а тем временем яр сроят, укрепят берег бетоном, посадками, а перед Домом культуры парк вырастет. Две недели назад Оня была на субботнике, понавтыкали хворостинок на пустыре перед ДК — растите, тополи-клены! А папаня все сокрушается: кабы знал, что здесь культурный очаг удумают строить, сроду бы дом свой не ставил с этого края! Зато ей, Оне, хорошо: на танцы ли,

в кино ли — рядышком. Не успеет кавалер десяти слов сказать, как она уже перед ним калиточку высокую закроет. А на калитке — магазинная табличка «Осторожно: во дворе злая собака!» и симпатичная мордашка овчарки с улыбающейся пастью. Парни психовали: «Онък, лучше свою карточку сюда повесь!» А вот с Артемом до трех ночи простаивала на морозе!

Музыка из радиолы вдруг оборвалась, и послышался расстроенный юношеский голос:

— Фу ты, опять проигрыватель сломался!.. Гриня, ты слышишь меня? Твою заявку — исполнить марш Мендельсона я все равно выполню. Я ж помню, какое событие!..

Оня и сердится на Гринькиного дружка, и смеется, тронутая сговором. И опять вглядывается: не бежит ли Катька?

Бежит! Торопится. Короткая юбочка плещется по бедрам, а рыжая голова вертится, Катька все успевает замечать. Она тоже еще не обгорела, на белом лице кругляши озорных глаз кажутся вдвое чернее и больше.

Неисповедимы пути твои, мода! У Они удлиненные юбки, а у Катьки — коротышка-мини. У нее современная гладкая стрижка-облизунчик, под мальчика, а Оня щеголяет старомодной толстой косой — маманина блажь: попробуй только обрезать, прокляну! А с косой тьма-тьмущая забот: то ее заплети, то ее расплети, то ее промой... У мамани свой резон: я-де всю жизнь с косой, да не отвалились же мои руки от забот! Правда, сейчас и коса-то у нее на затылке — всего с кулачок детский.

А обувь! То узкий носок, то широкий, то неподъемные «платформы», то мягкая тонкая подошвка, то квадратный каблук, то «шпилька», а теперь уже с косым срезом... При малом достатке — сплошной разор. Мода не поддается постижению, ей-ей. Ни с того, кажется, ни с сего модельеры вдруг выбрасывают старые лекала и лихорадочно изобретают новые. Где-то Оня читала: в начале века дам охватил психоз после популярной

аллегорической пьесы Ростана «Шантеклер», где под таким именем главным героем выступал петух. Что было, что было! Утверждали, будто в Африке всех страусов общипали на шляпы «шантеклер», добрались до ворон, но тут отчего-то мода изменила петуху и вороны облегченно вздохнули. Вбежала Катька, запыхалась.

— Понимаешь, предколхоза поймал... Ты кто, говорит, секретарь мой или не секретарь? Сиди в приемной, отзывайся на телефон и следи за миграцией вышестоящего начальства, посевная хоть и закончилась, мол, но начальство да всякие уполномоченные так и шастают, так и шастают. Если кто важный, мол, беги в баню, мы с Вавилкиным в баню идем... Извертелась вся от досады! Взяла и удрала. А чо! Звонков нет, начальства нет... — Крутнула туда-сюда головой: — Не приехал?

— Рано еще...

— Да я б на его месте! Айда, чего помочь?

— Да вроде нечего... Мам, на веранде будем?

— На веранде, дочка! — отозвалась из кухни Филаретовна.

— Вот стол вытащим на веранду. — Она сняла со стола поднос с тортом, переставила на подоконник.

Катька отломила крохотулю, почмокала:

— Вкуснятина!

Задевая то за косяк, то за порожек, вытащили стол на веранду, под ножку подложили щепочку, чтоб не качался.

Улицей, слышно, приближаются парни, побренькивают гитарой. Остановились напротив дома, похоже, заметили суетящихся на открытой веранде девушек, пробуют наладить контакт:

— Алло, мы ищем таланты! Девочки, мы к вам — айда?

— Перебьетесь! — откликается Катька и начинает дразняще припевать, приплясывать:

Я у Коли в коридоре
Каблуками топала,

Хотя Колю не любила,
А конфеты лопала!

— Ты бы лучше «цыганочку», дай «цыганочку»! — подзаводят, топчутся у забора парни.

— Сначала цыганочку, а потом целый табор затребуешь! Проваливайте!

— Отколотит он тебя когда-нибудь, Катерина, — шепчет с улыбкой Оня.

У Катьки из глаз — искристая, веселая чернота.

— Мелко плавает, спина наружи!

— Катю-ю-уш! — вопит все тот же парень.

— Ну чо-о?! — Катька смотрит в щель забора, бросает Оне: — Орет во всю варешку...

— Зайду вечером. В кино билеты взял. — За верх забора цепляются руки, и высовывается улыбающаяся физиономия парня, выпускает из зубов билет: — Держи! лучший ряд...

Билет идет к земле зигзагами, как осенний лист, Катька подхватывает его и, плюнув на обратную сторону, ловко приклепывает парню ко лбу:

— Сказала, перебеешься! Сгинь, анафема!

Обиженный парень скрывается, зовет приятелей:

— Айда, свои им не «ндравятся». Девки форсные, а женихи у них — навозные. Хоть навозные, дескать, да зато привозные. — Бренькает струнами, поет, срываясь на крикливый фальцет:

Ух ты, Катенька моя,
Хуже лихорадки,
Щи варила — пролила,
Обварила пятки!

Катька хохочет:

— Ни фиги себе! — И даже на свои голые пятки недоверчиво взглянула: — Брехун! И ах! — тут же резко хлопнула себя по икре. — Комар! Дурной, меня ж как укусишь — сразу сдохнешь...

— Зайду, Катерина-а! — уже издали кричит парень.

— А мне Колька... ничего. Может, зря ты, Катерина?

— Ты чо, Онь! На лицо-то яйцо, а в середине — болтун! У него ж сердце мамино: на какую ни глянет, на ту и вянет. На фига нужно! Скольких уж перебрал! А тут — коса на камень, его и заело. Не-е-ет, Онюшка, я все еще по Пете-Петяше сохну. Прозевала я его. Знаешь... — Приплясывает с отчаянием, почти со слезами:

И юбка чи-чи,
И оборка чи-чи,
Прочичикала миленка,
А теперьчи хоть кричи!

Вот если б такой, как у тебя. Да куда мне, расконопатющей! Вон даже Колька поет:

Конопатая моя милая Катяша,
Пропадаю без тебя, как без масла каша...

— Все-таки, наверное, любит, — смеется Оня, как бы впервые вглядываясь в подругу. Катька вся из контрастов: волосы рыжие, почти красные, лицо белое-белое, глаза, наоборот, черные, а по лицу, по идеально белым рукам и ногам — продолговатые брызги коричневых веснушек, словно на Катьку малярной кистью неосторожно махнули. Особенно много их сейчас, весной. — Есть в тебе бесовская изюминка...

— А! Знаю я, чо им от меня... Раз, мол, сходила замуж, неча, мол, выламываться, мол, не быть бабе девкою! Вот и-и-и... — Хлопает ладонью по руке, — липнут, как комары... А тебе — чо! Везучая. И нарядов у тебя неизносно. И красивая. И женихов навалом. А уж Артем! Я возле такого... — Она ткнула пальцем вверх, задирая пипку носа. — Тебе — чо!

— Не завидуй! — Оня обняла ее и потерлась щекой о ее плечико. — Все и у тебя обладится.

— Ох, подруженька...

— Оня, почту принесли. — Филаретовна вышла на ступеньки с помойным ведром, и Катька тут же переняла его:

— Давайте, я выплесну! — И побежала с ведром на

задний двор, оттопыривая руку, оттопыривая на руке мизинчик, быстрая, шустрая.

А Оня вынула из ящика, прибитого с этой стороны забора, почту, возвратилась на веранду. Газеты кинула на стол, занялась письмами и открытками.

— Это мне, мам... С Днем Победы поздравляют.

Катька стрельнула глазами через ее плечо:

— И с законным браком! Одни парни! А девчонки от зависти лопаются.

— Ну Катерина... Один Володька Вавилкин поздравил, а ты...

— Еще ж только смотрины, — многозначительно сказала Филаретовна, уходя в дом.

— Что сегодня в газетках пишут-с? — взялась Катька за газеты. — Люблю с последней страницы читать. — Вдруг начинает хохотать, на ее хохот выглянула Филаретовна. — Слушайте, что пишут! Пловец — плохой плов. Предвкушение — выпивка перед закуской. Баранка — овца... Ох-х ты-ы-ы! Ох и ох, Онечка. Посмотри! — внесла газету с большим портретом на первой странице.

— Артем! — ойкнула Оня.

— Он самый! — Подошла и Филаретовна, вытирая руки о фартук.

— Собственной персоной! Передовой механизатор колхоза «Дружба», систематически перевыполнял нормы на весеннем севе! — Пытается повесить газету на стене дома, но Оня забирает:

— Загордится еще... Мам, ты горчицу заварила? Артем горчицу любит.

Филаретовна остановилась у порога, усмехнулась:

— Заварила. Все узнала: что любит, что не любит...

— А чо! — подхватывается Катька. — И я б все о таком! За полгода все можно узнать.

— Люди, Катенька, жизнь вместе живут, да не знают всего друг про дружку. — Филаретовна морщит переносицу, вполголоса пересчитывает, незаметно для себя загибая на руке пальцы: — Так, Петровы знают.

Митрясовы придут, Вавилкины — тоже... Твердо ль обещал Крайнов Иван Иваныч?

— Не очень, мам. В поле, говорит, надо ехать.

Филаретовна щурит глаза, как бы в себя всматриваясь: «Памятлив... Причину ищет». С внезапным недовольством напускается на подружек:

— Вы чего ж это, девки? А стулья где? Да стол раздвинуть надо, тесен будет. Скатерти настилайте.

Она ушла, а из радиолы на весь поселок звучит ломающийся баритон:

— Гриня! Исправил! Исполняю просьбу.

И на солнечные улицы хлынул торжественный марш. Оня радостно вспыхнула, но шепчет с укоризной: «Ну зачем, зачем они... Еще ж только смотрины...»

— Теперь отступать некуда, Онечка! — смеется Катька. — Мосты сожжены!

Рывком распахивает одну из белых льняных скатертей, делает из нее как бы фату, верхний конец собрала в складки, подняла сзади над головой Оня:

— Держи, невеста!

Оня переняла, а Катька дурашливо преподнесла с поклоном другую, сложенную скатерть, точно хлеб-соль. Когда Оня в ответ кланяется, она цапает ее за нос. Хохочут, начинают застилать стол. Раздвинутый, он огромен, две скатерти — еле-еле.

— Ждешь?

— Н-нет!

— Счастливая.

Оня обняла подругу:

— Счастливая! Очень!.. Скорей бы... — Взглянула на оранжевый телефонный аппарат, приткнувшийся к цветочному горшку на подоконнике, ей даже погладить его хотелось, как ласковую кошку. — Звонил. Говорит, кольца обручальные купил. Расчудесные, говорит.

— Бабы каются, а девки замуж собираются.

— Собираются, — выдыхает Оня.

— Счастливая. Все у тебя. И женихи, и наряды. И мозги на месте. Не как у меня. Только я, знаешь, не

очень! — Сдернула вдруг со стола скатерть, набросила на себя, как шаль, и цокнула босоножками, пошла вокруг стола, ломая талию, запела с надрывом, на цыганский манер:

Если грусть войдет в шатер
Гостьею нежданной,
Пусть гитарный перебор
Веселит цыгана.
Хоть слеза туманит очи,
Грусть цыгану не нужна!
Пусть смеется, пусть хохочет
Звонкая струна!
И-эх, раз, еще раз, еще много-много раз!

И давай выстукивать, и давай. Да еще и плечом, западая набок, затрясла. Не хватало только звенящего мониста и большущих серебряных серег.

— Заводная ты! — смеялась Оня.

Катька накинула на стол скатерть.

— Колька говорит: моторная. Во мне завод на тридцать шесть часов, а в сутках только двадцать четыре. Мало! Не раскручиваюсь вся... Слушай, а чо мы? Пошли за поселок, на яр? И Артема встретим.

Оня помолчала, повела нерешительно головой:

— Н-не-ет... Цену ему набивать?

— Прям!

Филаретовна вышла с вилками в руках, которые перетираала полотенцем, понимающе улыбнулась:

— Да иди уж, иди, не майся...

— Н-не-ет! — опять нерешительно трясет головой Оня.

Катька искренне возмущается:

— Да ты чо! Мы ж... мы вроде как случайно, случайно, вроде — просто гуляем, гуляем!

Оня еще немного поколебалась:

— А-ладно... Сейчас я. Переоденусь... — Убежала в дом.

— Ох, Антонина! — всплеснула руками Катька. — Поди, в двадцатый раз за полдня!

— Тебе иль жалко? — вступилась за дочь Филаретовна. — Иль у нее смены нет? — Озабоченно посмотрела за ворота, в сторону реки: — Что-то отец с Григорием задерживаются. У парня экзамены на носу, а тот его с собой таскает, все мужика из него делает. Ладно б только мужика... Господи, до чего жадный...

— Ничего? — выскочила из дому Оня в голубом цветастом платье, с бирюзовыми крупными бусами на шее, все это очень шло к ее большим голубым глазам.

— Балдежно, Онь! — Катька притоптывает:

Ох, сад-виноград за зеленой рощей!
Скоро маменька моя станет грозной тещей!

— Вот заводная, — смеется Оня и направляется к калитке. — Мы скоро, мам! Мам, ты зацепи Полкана накоротко, а то он иногда дурной...

Катька забегает вперед и решительно, весело распахивает обе половины ворот, как бы впуская ясное зарево дня, близкую ширь многоводной реки.

— Сюда, подруженька! — Озорновато разводит перед Оней руками, поет:

Ты земли едва касаешься —
Только травы шевелишь;
Что ты птицам улыбаешься,
На меня не поглядишь?
Ты сказала слово звонкое.
Кони к счастью нас помчат,
А над всей родной сторонкою
Колокольчики звенят!

Схватила Оню за руку и бегом увлекла за собой. Филаретовна стояла у столбца веранды, прислонившись к нему круглым плечом, и с мягкой укоризной покачивала головой: счастливые, беспечные! Не такой у нее была молодость, не так она замуж выходила... Вздохнула, повела взглядом вокруг. За палисадником млела на солнце обморочная, оглохшая от собственного запаха сирень. На заборе лизался, прихорашивался пегий линяющий кот. Из-под сарая, с припека,

равнодушно взирал на него вечный враг Полкан. На поленнице дров верещали воробьи, обсуждая что-то важное.

Филаретовна спустилась с крыльца, продернула цепь Полкана по проволоке и зацепила ее за крюк на лачужке, слепленной Гринькой еще тогда, когда Полкан был щенком. Потом вернулась на веранду и, дальнорочно отставляя газету, долго всматривалась в портрет Артема.

3

Артем не чокнутый какой-нибудь, чтобы прямо с подножки попутной машины спрыгнуть на порог невестиного дома. Он вылез из кабины самосвала примерно в километре от поселка. Махнув прощально шоферу, постоял, успокаивая сердце. Еще бы! Пусть не на блины, но все-таки к будущей теще ехал. К будущему тестю. И главное — к будущей жене. Любой разволнуется, завидев высокую телеантенну над шатровой шиферной крышей. Она много раз рассказывала, какой у них дом, в каком месте стоит. «А телевизионная антенна у нас не крестом, а радиальная, папаня специально мастера из Уральска привозил. Три канала свободно берет. Ни у кого такой нет... Так что не спутаешь...»

— Не спутаю, Онечка, не спутаю! — Артем взволнованно вглядывался в тонкий паутинный круг антенны, в кряжистый большой дом, повернутый окнами к реке, в кущу цветущего сада позади него.

Здесь родилась, здесь живет его Оня, Онюшка, Антонина Матвеевна. Он будто в протаявшем окошке увидел ее строгие глаза — близко и недоступно. Сколько встречались, Оня всегда недоступной была: «Женись, тогда сколько хочешь обнимай и целуй!» Онины волосы пахли снегом, молодым, нетронутым, а руки были прохладными и непокорными. На ладошках нащупывались твердые копеечки мозолей. Уезжала в последний раз — напонила: «Обручальные кольца не

забуди! У меня — семнадцать с половиной номер...» Не забыл, вот они, золотые, в боковом кармане лежат, в коробочках...

Надо поуспокоиться, разговор с Ониными родителями пообдумать напоследок. У Они не раз прорывалось: «Папаня у меня суровый, строгий, ему не всякий в душу входит. Только по праздникам оттаивает, поет и смеется. Ордена надевает. У него их много...» Про мать почти не говорила: «А что о ней говорить! Домохозяйка... В остальном — я ее копия». — И приглушенно смеялась, взглядывая чуточку исподлобья: нравится тебе такая копия? То-то же!

Вот с такими будущими тестем и тещей предстояла Артему встреча. И не такой храбрец, как Артем, заробеет. Ну, если говорить правду, Артем не очень-то из робких, чего нет, того нет. Но ведь не каждый день встречаются на жизненном пути такие девушки, как Оня Чумакова, не каждый день тебе смотрины устраивают. Можно понять Артема! Понять и оценить его деликатность: хорошо, Онечка, я приеду, я покажусь, я постараюсь понравиться, хотя и не с ними мне жить...

Слева от дороги уходила за увал буроватая пашня с пегими пятнами солончаков. Невдалеке, сделав стойку черными смысленными глазами посматривал на франтоватого парня суслик. Посвистел, еще раз посвистел, Артем не отреагировал. «Ну и ладно, задавака!» — Суслик опустился на все лапки и принялся сжевывать зеленые молодые былки травы, как бы совершенно не обращая внимания на Артема. Тоже, похоже, с гонором.

Справа от дороги нес весенние воды Урал. Мутная пеннистая стремнина подрезала на излучинах глиняные яры, и они временами шумно ухали в воду. По ту сторону реки серебристо-бледной зеленью горел затопленный паводком лес, изломисто отражаясь в воде. Над деревьями кружили грачи. Далее, по горизонту, гарцевали густые майские марева. Над ними алмазную

нить инверсии тянул реактивный лайнер.

На реке — ни морщинки, а на яру вдруг схватывался ветерок, из придорожного кювета к обрыву наперегонки неслись прошлогодние перекасти-поле, по-уральски — катуны. Кружась, они медленно падали в воду. Чуть поодаль стоял, раскорячив ноги, человек в сапогах, с наброшенной на окатистые плечи фуфайкой, пальцы левой руки засунуты за поясной ремень, правая озабоченно крутила, наостряла ус. Долгим взглядом он провожал прыгающие вниз катуны, словно считал их. Затем перекидывал взор куда-то вдаль, за реку, в затопленные перелески левобережья.

Артем вгляделся. По молодецки сбитой набекрень форменной фуражке, по статной нестариковской осанке он узнал, к удивлению, своего односельчанина Авдеича, до недавнего времени работавшего лесником. Чего это он здесь околачивается?

Зеленя туфли соком молодых трав, Артем направился к старику. Зная, что тот глуховат, крикнул:

— Здоров, Нил Авдеич!

Авдеич мельком взглянул на Артема, даже не на самого Артема, а на его небудничный наряд.

— Здоров, коль не шутишь... — Опять вперился глазами в затопленные дали. — Заррразыньки... Никак сети поставили... Ей-пра, режаки воткнули. Середь бела дня перебирают... Ишь ведь, а! Нет, ты погляди, погляди-ка вон в тот осокоревый мысок, погляди, а!

Артем смотрел по направлению его руки, до слезы в глазах искал среди кустов и деревьев тех, кто ставил или перебирал в пойменном тиховодье запретные снасти, но так и не смог увидеть. Деревья, кусты, грачей видел, на тиховодье бумажными корабликами покачивались чайки — их тоже хорошо различал, а вот браконьеров... Вероятно, Авдеич брал ловцов своей стариковской дальноточностью. Он продолжал лютовать:

— Стервецы поганые, пра! Ужо вы мне, ужо!

— А вы какими судьбами здесь, папаша?!

— Чево?

— Как, говорю, оказались здесь? Вы же из Степного...

Авдеич внимательнее взглянул на Артема, удивился:

— Ха! Никак тоже из Степного? Артемка, что ль?

— Он самый.

— Вот те на! Я-т по-обыкновенному тут, проводили на заслуженный, ну и переехал к сыну, внуков нянчить. — Бросил взгляд за реку: — Ишь, ишь, чево делают! — И — опять с удивлением к Артему: — Невозможно любопытно мне, какая тебя, парень, болячка пригнала сюда за сорок верст? Эка, выфрантился, чисто жених!

— Угадали! Угадали, говорю! Женюсь. Девушка здешняя у нас в районе на бухгалтерских курсах училась... Хочу с ее родителями познакомиться, ну и... свадьбу обговорить.

— Чай, хороша?

— О!

Авдеич опять щурит глаза за реку, чуть пригнувшись, упершись руками в коленки:

— Народ отдыхает, потому как воскресенье, потому как посевная кончилась, потому как заслуженно... А эти... Я их давно узрел... Погляди-ка, парень, погляди!

Артему уже пора идти, он мельком взглянул туда, ничего не увидел, но согласился для порядка:

— Да, кто-то, кажется, и впрямь балуется...

— Балуется! — взвился, передразнил Авдеич. — Разбойничают! Она сейчас, лебедушка, валма валит вверх, икрицу бить, ей путь-дорогу дай, а ей — режаки поперек.. Ужо я вам! — С внезапной надеждой поворачивается к Артему: — Артем, слышь-ка? Айда вместе, а? Я ить общественный рыбинспектор... Айда? Их жа двое. Да и свидетель нужон... Хоша, тебе ж... Там, поди, на крышу залезли, выглядывают!

Артем поправил узел галстука, коснулся пальцами полей шляпы, засмеялся:

— Нет, меня попозже ждут.

— Согласный?

— Да ведь... — Артем нерешительно глянул на свой новенький костюм, на розовые, как телячьи носы,

полуботинки с толстой подошвой. Авдеич понял этот взгляд, с сожалением крикнул:

— Экий неумомный... А прихватили б! У них тут, — махнул в сторону прибрежной низины, — я доглядел, мотоцикл спрятан. Они сюда приплывут... Невеста узнает, что труса праздновал, — хорошо ль подумает? А мы б их...

Такой довод! Вроде как удар ниже пояса.

Авдеич окончательно отвернулся. Артем для него не существовал больше. Дескать, пустое место в шляпе, при галстукке.

Оказывается, пакостно становится на душе, когда от тебя вот так отворачиваются. Наверное, этак же, как сейчас Артем, чувствовал себя уважаемый мужчина в автобусе, когда он попросил его помочь отвести в милицию карманника. Прошлой осенью был Артем на областной сельхозвыставке, узнал там, что такое городской транспорт, особенно в часы «пик». Втискался однажды в автобус и сейчас же увидел, как молодой верзила залез в дамскую сумочку. Сцапал его лапу прямо в сумке.

— Давно, сэр, на свободе? — поинтересовался.

Вор ежеминутно ждет, что его схватят, однако такой момент для него почти всегда неожидан, на какое-то время он оглушает его, парализует. Так случилось и с этим. Он даже руки не вырывал, хотя был помощнее Артема.

— Кто пойдет свидетелем? — спросил Артем, уверенный, что вызовется по крайней мере половина автобуса.

Ничего подобного! Вокруг Артема и вора вдруг стало свободно, вакуум начал образовываться, хотя до этого, как говорится, негде было курочке клюнуть. И все молчали. Мужчины усердно отворачивались. Даже курносая девушка — хозяйка сумки — пятилась, остановившимися от страха глазами глядя на вора.

— Я попрошу вас, — конкретно обратился Артем к сидевшему рядом у кассы мужчине в шляпе, при

галстук, с портфелем-дипломатом.

Тот суетливо заерзал, заоправдывался: ему-де некогда, он-де торопится, и тому подобная чепуха. Артем крикнул шоферу, чтоб завернул автобус в милицию.

И вот тут наконец прорезались гневные голоса:

— Еще чего!.. Мы опаздываем!.. Детсад закроется, ребенок изревется!..

И так далее. Вор тем временем выхватил руку, протаранил себе дорогу к выходу и выскочил из остановившегося автобуса.

— Гады вы все! — сказал, выходя, Артем. — Слизняки!

И слышал, удаляясь, как вознегодовали в автобусе, — никто не хотел быть гадом или слизняком.

После того он несколько дней ходил сам не свой. И все время видел перед собой паршивенький, юлящий взгляд мужчины с портфелем-дипломатом и в шляпе. Забавно, что с тем карманником он столкнулся еще раз, на автовокзале. Тот узнал Артема, сволочно ослабил:

— Ну, что, съел, защитничек трудовых сбережений?! А ведь у тебя, глядишь, собственный домик есть, гараж с мотором? Могут сгореть в один прекрасный миг. Усек? В другой раз не выступай!

Милиционера поблизости не оказалось, к «общественности» обращаться не было желания, а упускать наглеца не хотелось. Тот, разумеется, почувствовал настроение Артема, резво «намылился» в многолюдье вокзала.

Зимой Артем начал заниматься в кружке самбистов. Теперь бы вору не смуться.

А вот браконьеры, похоже, смоются. Старику с ними не справиться. Артему же с ним никакой охоты нет идти. Костюмчик жалко? Или — «усёк»? Тем самым слизняком стал, каких в автобусе видел? В жизни, конечно, слизняков меньше, чем порядочных людей, даже наверняка меньше, в автобусе Артему просто не повезло, но осадок, но озлобленность в душе после

столкновения с ними остались надолго. И сейчас все это всколыхнулось против самого себя: гори ясным пламенем и новый костюм, и шикарные импортные туфли, если потом на себя захочется плюнуть! Да может, и обойдется все тихо-мирно, может, покладистые браконьеры окажутся, хотя о таковских на берегах Урала не слыхивал...

— Ладно! — мотнул рукой Артем. — Уговорили!

По затвердевшей гривке спустились в заросли тальника близ береговой кромки. На гривке хоть футбол гоняй, а тут чавкало. Полуботинки — ладно, помыть недолго, а вот заляпаные штаны... Ну да ладно, нашел, о чем горевать, грязь — не сало, потер — и отстало... А если копнуть в душе — на кой шут они ему, Артему, те браконьеры? Именно сейчас — на кой? Как и Авдеичу. Им больше других надо, что ли! У рыбнадзора вон какой штат раздули — пусть скачут, зарплату отрабатывают...

Артем даже сплюнул в сторону от досады: «Во как сидит в нас это проклятое — моя хата с краю! Просто жуть, как нам не хочется свой покой тревожить. Отчего это, а? Мамаля часто говаривала: «Лучшая подушка, сынок, — чистая совесть!» Не сама, конечно, придумала этот афоризм. К сожалению, мама, не все его помнят, не стараются помнить, вот в чем штукавина. Наверное, потому, что во сне человек не чувствует, какая у него совесть. Да и подушку в темноте не разглядишь... Интересно, Оня сколько раз уже выскакивала за ворота? Хотя вряд ли. Гордая. Никому виду не подаст, что ждет не дождется. Ух, старик, если б ты знал, как мне повезло! Знаешь ли ты Оню? Вряд ли! Недавно переехал. Здорово мне, дорогой Авдеич, повезло. Ребята из бригады видели, повезло, говорят... Леший тебя, Авдеич, вынес на мои глаза!..»

Артем смотрит на согнувшегося в кустах старика, но, откровенно говоря, досады на него особой не испытывает. Артему, откровенно говоря, нравятся такие, как Авдеич. Неравнодушные. Они подвигают человечество вперед. Они первыми поднимаются в

атаку...

А поднялся бы Артем первым в атаку? Бросился бы на вражескую амбразуру? Нет, утверждать Артем не стал бы. Как утверждать, если ничего подобного в его жизни не случилось. Утверждают не словами — поступками.

Авдеич доволен, то на реку из-за куста поглядывает то на Артема. Великую истину выдыхает:

— Сюда гребут... Эк будара огрузла!

Будто Артем сам не видит, что к ним гребут, что в лодке двое — над гребцом пар поднимается, — что лодка по верхнюю обводную доску огрузла. Какой-то непутевый у Артема характер, отчего-то опять начинает Артем сердиться на себя. Ну, подгребут те сюда, а дальше что? Протокол составлять? Подумаешь, геройство! Стоило из-за этого лезть в кусты. Не с красной же рыбой идут Севрюга, поди, еще где-нибудь возле Гурьева.. Как поднимется к этим местам — вот тут, тут уж кто кого перехитрит! Тут уж начнут рыбинспекция да милиция по берегам днем и ночью шастать. А все ж в редком доме на побережье не шкварчит в те дни сковорода с жарящейся севрюжатиной, редкий уралец не полакомится ухой из севрюжьей варки, как называют здесь рыбью голову, а литровая банка икры (из-под полы) идет по восемь червонцев. И штрафуют, и судят, но браконьеры, похоже, не мамонты — не вымирают. Скажи, пожалуйста, какая хищная страсть живет в ином человеке, ничто его не останавливает.

А из-за этой рыбы, которую двое везут сейчас, может, и впрямь не стоило бы в грязь, в кусты лезть! Да еще и вопросы Нил Авдеич задает никчемные, вроде бы комаров от нечего делать пошлепывает: как отсеялись, кто бригадиром у него, Артема; что бают агрономы про хлеб, про сено; с автобусом приехал или с попутной; что в фуфайке он, Авдеич, парится оттого, что еще с фронта радикулит привез, а недослышивает из-за контузии — бомба рядышком разорвалась... Знал ли об этом Артем

или не знал? Не знал? Ну, это, мол, не шибко важно, важно то, что Артемка пошел-таки с ним встречу охальникам, ужо они им покажут, как разбойничать...

— Она кто жа, чья, зазнобушка?

Ага, вот это уже существенный вопрос! На него и отвечать охота.

— Оня. Антонина Чумакова.

— М-м, вона кто. — Авдеич взглянул на Артема, немного странновато взглянул, верно, позавидовал счастливцу, тот даже грудь развернул — задавака. Авдеич покивал: — Приме-е-етная, да, приме-е-етная... Ш-ш-ш, Артемушка! — Шикнул так, словно Артем громогласно возражать собрался. — Эка нагрузились!

Плеск весел приближался. Артем разглядывал гребца: со спины хлипкий, узкоплечий, малость патлатый — по-современному. Греб умело, не часто, но сильно, нос лодки взбивал брызги. На слух кажется, что кто-то черпаком вычерпывает Урал. На корме по-коршунячьи согнулся матерый мужик, обеими руками прижимал к левому бедру короткое весло, рулил. Так держатся за шашку, когда собираются выдернуть из ножен. Тяжелой выседевшей головы почти не поворачивал, но глаза стригли и вправо, и влево, и по кустам, в которых затаились Авдеич с Артемом... Неужто не видит их?

Нет, не видел. Будара хотя и тяжко, но мягко, с хорошего разгона врезалась в илистую кромку берега. Гребец и кормщик выскочили из нее прямо в воду, дружно подхватили с двух сторон и вытащили почти до половины.

— Айда, кати мотоцикла ближе, — скомандовал старший.

Гринька разогнулся и остоленел: из кустов вылезали двое. Верхняя красивая губа с темным юношеским пушком дрогнула, покривилась.

— Как улов, станишники?

Чумаков выпрямился с быстротой лука, у которого вдруг обрезали тетиву, и Артем вблизи разглядел, что он далеко не молод, матерые красные складки выстелили

все лицо, делая его грубым, даже неприятным. Облегченно сверкнул дюжиной стальных коронок:

— Ф-фу, шайтаны-дьяволы... Сердце чуток к едреной матери... Чисто рыбнадзор, подкрались... Тоже на фарт? Заловистое место! Мы, вишь, сколь зачерпнули...

Воистину так: вровень с досками сидений в бударе ворочались, шлепали хвостами, плямкали ртами широкие, как лопухи, лещи и красноперые толстые сазаны, серые змеевидные щуки и крепкие, будто слитые из серебра, жерехи, колючие, как сто чертей, судаки. По бортам и сиденьям мерцала рыбья чешуя, измазанная бледно-желтой икрой.

В молчании, с каким разглядывали улов Авдеич с Артемом, Чумаков заподозрил что-то неладное, сощуренные глаза его настороженно присасывались то к одному лицу, то к другому. Авдеич хотя и недавно в поселке, да Чумакову уже известен своим содомным характером: везде наперед других лезет, везде правду-матку ищет. С Авдеичем ясно. А что за городской шаркун с ним, в галстук и шляпе?

Улыбается, глядя на рыбу, покачивается на розовых, измазанных илом полуботинках, засунувши руки в карманы. Черт-те что у него на уме, черт-те кто он вообще...

— Одрало бы вас! — выдохнул наконец Авдеич. — Столько икряной рыбы изничтожить... — Взглянул на Артема: — Бобра и бобренка прищучили. Одрало б их!.. — Вытащил и показал Чумакову красную книжицу: — Вот, стал быть. Внештатный рыбинспектор. Общественники мы. С поличным вас, как говорится...

— Ха-ха! Обще-е-ественники! Да ведь я тоже не единоличник, Авдеич! Брось шутки шутить на день весенний, смеяться неохота...

— А? Чево сказал? Шутки?! Я те дам шутки! Говорил мне районный рыбинспектор, чтоб доглядывал за тобой. Вот и прищучил! — Авдеич полез в боковой карман, вытащил тетрадку и шариковую ручку. — Здесь будем протокол писать или... в сельсовет пойдем?

— Да ты что, Авдеич! — Шутками здесь понял Чумаков, и не пахнет. — Свои ж, понять надо. К празднику Победы нашей! — Моргает Гриньке, качнув головой, и тот миготом достает из будары бутылку водки, отдает отцу. — Опрокинем в честь праздничка и — в разные стороны.

— Убери, убери, говорю! Привык...

Чумаков возвращает посудину Гриньке, тот ставит ее в сторонке, а сам не может совладать с крупной дрожью, которая прошибает его время от времени.

— Зря кипяتيشся, Нил Авдеич, — тихо вразумляет старика Чумаков, тяжело опустив глаза. — Зря, право. Я ведь по-дружески, к разуму твоему, а ты...

— Хватит! Пошли в Совет! — Авдеич решительно засунул тетрадь и ручку в карман.

— Значит, поведешь? — Резанул Гриньку исподлобья: — Да не трясись ты, как последняя баба... — И — опять к Авдеичу, теперь уже подняв на него глаза; прежде они были серыми, колючими, а сейчас, показалось Артему, стали какими-то мутно-белыми, как пузыри во льду. — Поведешь? Заслуженного фронтовика? И добрых слов тебе не надо? Не надо?! — Выдергивает из уключины весло, обещающе взвешивает на ладонях: — Не ша-а-али-те с фронтовиком! Добром прошу...

— Папаня...

— Цыц мне!

— Ты это брось, брось, говорю, хулиганить! — сердито урезонивает Авдеич. — Я тоже не кашеваром на фронте был, «языков» таскал. Не спужаешь!

— Брось весло, дядя, — впервые подал голос Артем, с веселой злостью и азартом качнул перед Чумаковым здоровым, с добрый арбуз кулаком, похоже, переливая в него всю свою силу. — Видишь? Наглядное пособие. Сейчас в нем полпуда. А плюну в ладонь — пуд с гаком будет.

— Не хошь идти — здесь составим! — Авдеич садится на нос будары, снова вынимает тетрадку. —

Соответственно закону, орудия лова и лодка с мотоциклом будут косф... конфискованы. А вас, стало быть, сам знаешь...

— Рисковые вы ребята, но не берите греха на душу. — Чумаков вновь взвесил крепкое тяжелое весло. — Вгорячах я что хошь сделаю. — В горле у него kloкoтнyлo, глаза напучилиcь кpoвьяными прожилками.

«Верно, сделает, — подумал Артем. — Придется вязать...» — И шагнул к Чумакову.

— Б-бей их, Гриня, растак, в душу! — с хрипом выматерился тот и швырнул Гриньку на Артема так, что оба упали, а сам взмахнул веслом. — Я вам р-р-распокажу, туд-д-ды вашу!..

Артем слышал, как хэкнул Чумаков, как просвистело в воздухе весло, как что-то хряпнуло, как кто-то охнул. Сам он оказался под пареньком, руки которого упирались ему в грудь и мелко-мелко дрожали, а вытаращенные глаза были полны ужаса. Артем согнул ногу в коленке, чуть подвернулся, сунул туфлю под Гринькин живот и с такой силой киданул Гриньку с себя, что он отлетел шагов на десять, покатился и бахнулся о пень, выброшенный половодьем. И больше не шелохнулся.

«Неужто я его насмерть! — ужаснулся Артем, вскакивая. — Влип, черт побери...» — Хотел броситься к мальчишке, но вынужден был обернуться на матерящегося Чумакова, подступавшего с веслом к нему.

— Ты... ты, сволочь... ты что ж сделал?! Единственного, надежду мою... Ты... что сделал, гад... Этого я тебе...

— Не дурей, дядя, не дурей. — Артем, готовясь перехватить удар, рогачом выгнул перед собой руки, по сантиметру пятился. Увидел, что и Авдеич кулем лежит в сторонке. — Перебесились вы здесь все, что ли...

А Чумаков щерил железные зубы, всхрапывал, придвигался, примерялся, как бы вернее оглоушить Артема длинным и тяжелым, как палица, веслом.

— Старого успокоил... И тебе, шляпа в галстук... башку расколю, как тыкву... Раки слопают... Законнички! — Крякнул, как при колке дров, из-за плеча со страшной силой обрушил на Артема весло. Артем увернулся, а оно ляскнуло по сырой глине, ввязло концом, Чумаков не успел выдернуть — Артем обеими руками ухватился за него.

— Теперь попался, попался! — Перехватывая весло, Артем шел на сближение.

Чумаков выпустил весло, метнулся к лодке и проворно выхватил деревянную чекушку, похожую на скалку, ею глушат крупных рыб, чтобы не прыгали в лодке. Ну, она не могла выручить Чумакова, нет! Артем подныривает под его взмах, короткий мощный тычок под дых, Чумаков, икнув, роняет чекушку и оседает наземь, выпучив глаза, хватая ртом воздух. Все остальное произошло быстро: после короткой схватки Артем заломил Чумакову руки, сдернул с шеи галстук.

— Теперь уже все... все, тварюга... Я, милок, в кружке самбо занимался...

— Фронтовика, ветерана, — хрипит очухавшийся Чумаков. — Пусти, гад! Уничтожу... — Он хрипит, матерится, брыкается.

— Не вертухайся, дядя... Вот так. — Артем галстуком стягивает ему сзади кисти рук. — Вот так... Будешь вертухаться — по шее схлопочешь. Смирно сиди!

— Ых-х, подавиться б тебе этой рыбой!

— Давятся чужим, дядя, а я чужого никогда не трогал.

Встал Артем на ноги, бегло глянул на себя: черт-те на кого похож! Руки, костюм в грязи, шляпа под кусты закатилась... Посмотрела б Оня! Будет что рассказать... А как же эти, пацан, Авдеич?

Опустился на корточки перед Авдеичем:

— Жив ли, папаша? — Уложил его поудобнее, тот застонал. — К-к-как он тебя, дорогой Нил Авдеич... Зверина...

Чумаков воспрянул духом:

— Иль живой?.. Слушай, товарищ...

— В гробу, в белых тапочках я таких товарищей... — К ране на голове Авдеича Артем приложил носовой платок, тот самый, что подарила Оня в прошлый свой приезд. Оня-Оня, будет что рассказать тебе. Да, но как заявиться к тебе в таком виде?.. Цедит сквозь зубы: — В белых тапочках я б тебя...

— Прости... Будем живы, богу милы, а на людей сам черт, как говорят, не угодит. И Авдеича обговорим, смилостивим.

— Заткнись. Зверина...

— Вгорячах ить... Сынка-то моего... уколошил, что ль? За это, знаешь...

Артем метнулся к Гриньке, потрянул его за плечи:

— Н-но, слабачок... Да не бойся, больше не буду бить! Вот так, сиди. Жив твой ублюдок, радуйся! — кинул Чумакову и снова бросился к Авдеичу. Зубами сдернул с чумаковской поллитровки металлическую пробку, плеснул на платок, вновь приложил его к ране. — Шакалы... фашисты...

— Ответишь за свои слова, ответишь! — Чумаков пытается встать.

— Сядь, зверина! — рявкает Артем.

— Н-ну, парень, н-ну, законничек... — Чумаков опускается на место, часто, сипло дышит. Вдруг орет на Гриньку: — Чево глазищами хлопаешь?! Заводи мотоцикл, скачи в поселок! Людей зови! Мол, убивают нас!

— Только попробуй, мальчишечка... Вместе с мотоциклом в Урал кину... Как ты, папаша, как, дорогой Нил Авдеич? Вот врезались мы с тобой в историю...

Авдеич стонет, приоткрывает глаза.

— Где?.. Это ты?.. Ох, язвый те... Кто ж кого? Ушли?

— Шиш! — Артем осторожно подтаскивает его к Гриньке, приваливает спиной к пню.

Чумаков склабится:

— Корова ревет, медведь ревет, а кто кого дерет — и черт не разберет! Вставай, Авдеич, да поимей хоть ты

милость. Неча нам из всякой малости бураниться!

— В сельсовет их... — Авдеич морщится, сдерживает стон, с трудом разлепляет веки. — Извеку чужеед, на чужих хлебах норовит... Ох... А тебе я испортил...

— Ерунда! — взглядывает на себя Артем.

— Не о том... Невеста-то... Вот скверное дело... Ты не гневись... — Авдеич замолчал, кажется, опять впал в беспамятство.

Артем поднял свою шляпу, обтер ею мокрое лицо, мрачно взглянул на Гриньку, на Чумакова:

— Как земля таких носит! А ты... школьник, наверное? В каком? — Подошел к воде, начал мыть руки. Попил из горсти. — В каком, спрашиваю?!

Гринька сначала на отца посмотрел, словно разрешения на ответ ждал, разлепил одеревеневшие губы: — В... в де... десятом...

— Здесь... экзамен на аттестат зрелости сдаешь? — Артем помахал мокрыми руками, надоело, и он яростно потер ими так и этак о брюки. Продолжал мучить: — Да еще и комсомолец, наверное? Погань ты — вот кто ты есть. Как и папаня твой.

— Не смей ветерана! — приподнялся Чумаков.

— Вша ты напозная. И сиди мне, сиди!

— Ну... мы еще с тобой... Ты у меня еще... За самовольство! За превышение!.. Гринька, ай не видишь, отца комары заели?! Пообмахивай!

Гринька подскочил к нему, озираясь на Артема (можно?), стал обмахивать. Артем криво усмехнулся и снова присел возле Авдеича. С безразличием уставшего человека не прислушивается к тому, что нашептывает Чумаков пареньку, знает: никуда им от него не деться. Не видит он и Оню с Катькой, бегущих по уклону к ним. Важно сейчас что-то с Авдеичем сделать — тот без сознания.

— Ты вот что, юный пират, — повернулся наконец к Гриньке. — Сейчас положу старика в люльку, мчи в больницу. А батю твоего я...

— Артем! Арте-о-ом!

— Оня? — Он разом вскочил на ноги, шагнул навстречу. Радостно схватил ее за плечи, боясь прижать к себе, испачкать. — Онюшка...

Она осторожно уперлась ладонями в его грудь, отстранилась. Ошеломленно-оглядывалась.

— Артем... что это значит?!

— А! Двух подонков скрутил... — Он попытался снова поймать ее теплые плечи ладонями. — Идите отсюда, Онь, я потом, я скоро...

— погоди, Артем. Ты соображаешь, это же...

— Да плевать, Онь! Не с такими приходилось...

— Артем...

— Это же отец, Артем, — подала голос Катька.

— Ну и черт с... Пстой. погоди... Отец? — Он ошарашенно уставился на Катьку, на Оню. — Отец?!

— Мой отец, Артем...

— Твой отец? — Если б берег обвалился под ним и ухнул в Урал, окунув с головой, это не так бы его потрясло, как услышанное. — Твой, Оня?

— Да, да, да! Развяжи сейчас же!

— Развязать?

— Да, да, да, в конце концов!

Он медленно повел вокруг рукой: на лодку с рыбой, на беспамятствующего Авдеича, на свой измазанный костюм:

— А... а это... как понимать, Оня?

— Господи!.. Потом, после... — Она присела возле отца, пытается развязать его руки.

Артем взял ее выше локтя, обронил глухо:

— Отойди, Оня...

— Не сходи с ума, Артем.

— Отойди, Оня, прошу.

Она гневно распрямилась:

— Артем!

— Отойди... — Не ветки тальника укоризненно покачивались перед его глазами — весь мир, вся вселенная.

— Ха-ха-ха! — притворно расхохотался Чумаков,

обнажая железо вставных зубов. — Выбрала? Довыбиралась? Да я на порог такого гада не пущу!

Тяжелым было у Артема сердце, тяжелее плуга пятилемешного. Не было на свете человека несчастнее его. Не такой он представлял свою встречу с будущим тестем. Представлялось ему мужское крепкое рукопожатие, а лучше того — русский, трехприемный поцелуй, любовное, изучающее разглядывание одним другого... А потом: «Согласный с вами, дети, положим свадьбу на то воскресенье!» И они с Оней кивают: конечно, папаша! А Оня, хоть и строгая, хоть и ниц глаза держит, а по всему — рада до невозможного предела. На руке у нее обручальное кольцо блистает. И от волос ее свежим молодым снегом пахнет... А далее, еще далее: «Вот теперь, Артемушка, вся я твоя безоглядно!..»

Развязать отца Ониного, примирить с ним Авдеича — и все бы снова настроилось, въявь увидел бы свою недалнюю мечту, пускай не так ладно, как метилось, да все ж краше, чем эдак вот — лютыми врагами друг на дружку зыркать, краше, чем Оню терять...

— ...Вспомнил я его, Авдеича, в молодости тут жил. Хорошо, смотри, вспомнил! Не искоренился-ка, гляди! Завсегда пороховитый был казак, боевой, жаркий, чисто сатана. Сколько раз ребята собирались ребра перемолоть ему, ан — сызна Авдеич сверху! Даже хоть и морда в крови. А только отходчив, не носит зла на сердце, сговориться можно...

Вон что! Все-таки сговориться? Поначалу — веслом по башке, а после — прости, Христа ради, больше не буду? Ловок. Если б не защемили тебе хвост, не скрутили рук, то и он, Артемка, валялся б с расквашенной головой или, того хуже, рядышком с Авдеичем на дне речном вспухал, пока не взнесло бы обоих утопых, не прибило бы к берегу...

Эх, Оня-Антонина! Как же это получается? Обманывала? Смотрит Артем на ее гордую осанку, смотрит в рассерженные глаза.

— И ты говорила: заслуженный, справедливый?

— Да!

— И орденов много?

— Да, да, да! Полная грудь!.. Ну чего особенного? Ну порыбачил, ну подрались... Все ж рыбачат...

Артем кивает на будару:

— Так? По столько?

— Как сроду рыбы не видал! — наигранно удивляется Чумаков, поднимаясь на ноги. — Для вас же... для свадьбы.

— Тут на десять свадеб хватит!

Она припадает к Артему, не боясь испачкаться об его измызганный в схватке костюм, даже за руку берет.

— Артем, нельзя же так... Развяжи, Артем, и...

— И наперед умнее будь, — вставляет Чумаков. Ворохнулся и застонал Авдеич, Артем присел к нему

— Сейчас, Нил Авдеич, сейчас, извини... Мы тут родственные отношения выясняли... Сначала, мол, веслом по башке, а потом — мы хорошие, прости нас... Заводи мотоцикл, Григорий!

Гринька выдергивает из кустов мотоцикл, Артем поднимает на руках Авдеича, несет и опускает в люльку

— Мчи в больницу. Живо!

Гринька толкал, толкал ногой заводной рычажок, но мотор лишь всфыркивал, но не запускался.

— Сколько тя учить, сынок! — хмыкнул рядом с Артемом Чумаков. — Топливный краник открой...

Гринька виновато взглянул на отца, открыл краник... Мотор хватил бензину, закашлялся, взревел. Гринька включил скорость. Заднее колесо брызнуло грязью, и мотоцикл умчался.

Чумаков положил руку на плечо Артема:

— Ну, вот что, женишок. Пошалили — и хватит. Ты — в одну сторону, мы — в другую. Характерами не сошлись.

Артем оторопел. Он увидел в Оиных руках свой шелковый, в бело-коричневую полоску галстук.

— Ты... Оня? Как смела?

— Это ты как смел! Видеть тебя не хочу!

— Оня-а!

— Да кто ты, чтоб... чтоб!

— Оня-а... Значит, и ты?

— Заладил: значит, значит!

Артем хватается за весло, увидев, что Чумаков направляется вслед за уехавшим мотоциклом:

— Назад! Назад, говорю! Убью! Шакалы!

У Чумакова невольно поеживаются лопатки, и он останавливается. С его бурого, забранного в крутые морщины лба медленно отходит кровь.

— Ты... брось-ка свои дурацкие... Я войну прошел...

— И Авдеич прошел! И мой отец прошел! Моих три брата не вернулись с нее! Так что?! Так что, спрашиваю я вас?! — И Артем даже засмеялся, мелко, нервно. — Вот комедия, ну комедия... Впрочем, что это мы здесь топчемся? Давайте, Чумаков, я вам свяжу руки и... в Совет, как наказывал Нил Авдеич. Не стесняйтесь, подходите!

Оня просительно заглядывает в глаза:

— Из-за... из-за чего, Артем, хотя было б из-за... — Видит его сведенные гневом обветренные губы, неумолимый взгляд под сомкнутыми бровями. Откачнулась с выдохом: — Как я тебя ненавижу...

— Спасибо, Антонина Матвеевна, спасибо! — Артем пытался улыбнуться, но губы присыхали к зубам и улыбка получалась некрасивая, вымученная, как у мертвеца, который вдруг вздумал улыбнуться. — Теперь я понимаю твою заботу об обручальных кольцах...

Подумалось в эту минуту ему, что Оня всегда была с ним неискренней и холодной. И от этого еще обиднее и горше стало. Нащупал, достал из нагрудного кармана пиджака коробочки с кольцами. Раскрыл на широкой, в мозолях и царапинах, ладони. Червонное золото жарко вспыхнуло на голубом бархате подкладки. «Обручальные кольца не забудь!..» Он не забыл. Ничего не забыл...

Поднял голову к солнцу. Оно чуть-чуть вправо сдвинулось. Сияло, пригревало по-прежнему. А казалось,

так много времени откочевало вслед за бегущими речными водами!

Еще не понимая, но уже начиная догадываться, что он хочет сделать, молча смотрели на него и Чумаков, и Оня, и Катька. А он снова перевел глаза на толстые дорогие кольца. Двумя непослушными пальцами, как жука, вынул из футляра то, что семнадцать с половиной. Короткий бросок, и кольцо, сверкнув, булькнуло в воду, словно грузильце донной удочки. Точно так же, может, чуть громче, булькнуло и второе, двадцать первого размера. Следом за ними полетели в Урал и коробочки. Они поплыли, закружились среди пены и мусора. Далеко видна была их бирюзовая подкладка.

— Дур-р-рак! — поставил свою точку Чумаков.

Комкая в руках Артемов галстук, Оня подошла, очень медленно, словно ноги вязли, приблизилась к парню. С минуту смотрели глаза в глаза. Швырнула в лицо ему его галстук, повернулась и пошла в гору. Артем зажмурился, мучительно стискивая зубы, а когда вновь открыл глаза, то не сразу понял, что это Катька насмешливо скособочилась перед ним. Ухмылка ядовитая, скипидарная:

— Довыступался? Лопушок! — Повертела пальцем у рыжего виска: — Чо, даже на троих не соображаешь? Кольца-то при чем? Э-э! — Бегом кинулась догонять Оню.

Чумаков издевательски хохотал:

— Хоть сядь да плачь, хоть за ними вскачь? Ха-ха! И все из-за чего? Салажонок! Есть завет: от много взять немножко — не воровство, а дележка. А ты-ы!

Действительно, может, не стоило заваривать всю эту кашу? Ее ведь не расхлебаешь так вот просто, слишком круто сварена. А крутым нетрудно и подавиться. А по этим злым, ехидным выкрикам Чумакова получается, что первым подавится он, Артем. Если еще не подавился! «Ненавижу!» — сказала Оня. А Чумаков уверен, что ему все гладко обойдется, не такой он человек в поселке, чтоб его дали в обиду. Дескать, не с

твоими силенками, широкий механизатор, идти против Чумакова. Это, мол, только курортный загар проходит, а знакомства и связи нерушимы. Рыбалка? Браконьерство? Да какое это браконьерство! Ты, широчайший механизатор, еще не видывал настоящего браконьерства. Это — просто баловство, как говорят ноне, хобби, слабость душевная. А слабости, говорят, надо прощать ближнему, даже если он и не начальник твой!

Чумаков, похоже, никуда не спешил. Кажется, некуда было спешить и Артему. И Чумаков, склабясь, старался, очень ему хотелось смешать Артема с грязью, унижить, уничтожить. А у того не укладывалось в голове: неужели это Оня швырнула ему в лицо скомканный галстук, бросила оскорбительные слова, неужели отец ее и впрямь воевал, на смерть шел за Родину, награды имеет! Как, как все это понять, разложить по полочкам? Как?! Сдаться? Попросить прощения? А раненный — не на войне! — Авдеич? А эта наглость, эта уверенность в безнаказанности?

Артем поднял с земли галстук, сказал негромко, внушительно:

— Повернитесь спиной, Чумаков. Спиной, говорю. Руки вязать буду.

— Х-ха! А этого не хочешь?! — Чумаков свернул фигу. И в то же мгновение охнул, скрючился от сокрушительного тычка Артема.

— Извините, — Артем потряхивал рукой, — я же вам говорил насчет наглядного пособия...

Чумаков отдышался, повернулся к Артему спиной:

— Твоя взяла: вяжи... Хорошее у тебя пособие.

Артем обхлестнул его сложенные за спиной руки галстуком, затянул узел.

— Люблю понятливых...

4

У Филаретовны, кажется, уж все наготове, только бы на стол подавать, а никого нет: и Ларионыч с Гринькой

где-то запропастились, будто утопили на своем Урале, и Оня с Катькой не возвращаются, и жених не заявляется. На что спокойная, выдержанная Филаретовна, а не удержалась, вышла за ворота глянуть вправо, глянуть влево: не замаячил ли кто? Одному, говорят, и у каши сгинуть можно, а уж в ждалках-ожидалках и вовсе изведешься. Чего ж хорошего: пирог стынет, жаркое перепреет, торт корочкой возьмется!

Нет, никого не видно из своих. У Дома культуры молодежь тебенюет, музыка играет, от своей избы куда-то бежит-торопится Капитолина Ярочкина. Она всегда и везде торопится, эта Капочка. До всего ей дело. Живет черт-те где, а Филаретовну называет шабрихой, соседкой. Верно потому, что та давала ей раз или два свежей рыбки на пирог...

Добродушно поворчала на девок, не прикрывших за собой ворота:

— Бедовые... Все бы им нараспашку. Особь Катерина...

Приподняв тяжелую широкую створку, стала тянуть ее на место. У второй сейчас же оказалась Капочка, ухватила за нее:

— Помочь, что ль? Здравствуй, шабриха.

— Спасибо.

Вместе они закрыли ворота, а что еще сказать одна другой, не знают.

— Ты еще в чулках ходишь? — нашла тему Капочка. — А я уж сняла, больно ноги тоскуют. — Увидела раздвинутый на веранде, скатертями накрытый стол, обрадовалась, будто именно его и хотела увидеть:

— Слыхала, дело-то к свадьбе?

Некстати нынче Капочка, и Филаретовна не очень скрывает это. Помела возле крыльца, поставила веник! В уголок. Ответила сдержанно:

— Пока — смотрины. Но подарок готовь, соседка, готовь. Верно, быть свадьбе, быть.

— М-м! — засветилась, заравовалась приглашению

Капочка. — Спаси Христос, шабриха, спаси Христос! Слыхала, весь, почитай, поселок собираетесь пригласить на свадьбу-то? — Кидается к Филаретовне, взявшейся переставлять табуретки и стулья: — Ой, да что ж это ты! Дай-ка я... Весь поселок, слыхала...

— Говорю ж, смотрины пока, — недовольно отзывается Филаретовна. — А если уж на то... Разве мы последние в поселке?

— Истинно, шабриха, истинно! И я говорю: не последние. И дом у вас, почитай, самый лучший, и Оня — первая красавица... Может, подсобить чем, шабриха? Я ить все дочиста умею. Пирог с рыбой у меня — чудо как получаются! А вот еще...

— Спасибо, — останавливает ее скороговорку Филаретовна, — сами как-нибудь. А на свадьбу, если что, приходи. — Ушла в дом.

— Спаси Христос, спаси Христос, как говорят темные старики! — Привставая на цыпочки, она тянет шею через перила веранды, пытается рассмотреть что-то в окне. Возвратившаяся Филаретовна с усмешкой трогает ее за плечо:

— Чево там узрела, соседка?

— А я себя, себя, шабриха, — поводит возле лица руками, — себя в стекле... Прическу не сломала ль! Я ить в парикмахерской была ноне.

— Хорошая укладка, — опять усмехнулась Филаретовна, разглядывая ее аспидную прическу с зализами и фиолетовым оттенком, как шея у весеннего селезня. Явно не по возрасту приукрасилась соседка!..

— Шесть целковых, смотри, ровно шесть. С других — по червонцу, а с меня — шесть рублей, по знакомству. — Она хватается за веник, начинает мести дорожку от крыльца до калитки, что-то напевает, кажется, «Хазбулат удалой»... Обернувшись, не видит Филаретовны, вглядывается в темноту сенцев — не видит. Кричит обиженно: — Ну так я пошла! — Выждала с полминуты. — Пошла я!

Швырнула веник к ступенькам и вильнула за калитку.

Хотела хлестнуть ею за собой, дескать, плевать мне на вас и ваши смотрины, но вовремя отдумала: не дерись с царями, не ссорься с шабрами...

Филаретовна усмешливо качнула головой, глядя вослед с высоты крыльца: у каждого — характер, у каждого свой норов! Подобрала веник, ткнула на место. Вынесла чайник, сахар, чашку с блюдцем. Присела возле стола.

Затарахтел, вывернулся из-за угла мотоцикл. Остановился у ворот. «Наконец-то!» — обрадовалась Филаретовна. Но это не муж с сыном вернулись, в калитку вошел председатель сельсовета Крайнов: новенький синий комбинезон, кирзовые сапоги, на голове танкистский шлем. Моложав, статен, хотя и разменял шестой десяток. Полкан, не вставая, звякнул цепью, раза два гавкнул для порядка и, задрав заднюю ногу, ткнулся носом в подбрюшье, мстительно выискивая самую злую блоху. Филаретовна поднялась, улыбнулась:

— Входи, Иваныч, проходи!

Крайнов остался у калитки:

— Спасибо, Филаретовна, в поле тороплюсь. Оня дома?

— Нашим хлебом-солью требуешь? Чай, не совсем чужие.

— Спасибо, времени — в обрез. Оня нужна...

— Нет Антонины, с Катькой куда-то... «Прошвырнуться» вдоль по берегу, как говорит Катерина. Да проходи ты, Иваныч, за ради бога! Собака — на цепи, я — не кусаюсь. Чайком угощу.

— Уговорила, право, — засмеялся он. Пружина услужливо закрыла после него калитку. — Какой же уралец откажется от чая! — Снял шлем, положил на табурет рядом с собой. — В молодости б такая приветливая была...

— Тебе со сливками?

— Если можно...

— Можно, своя корова... В молодости, Иваныч, сам

знаешь, я только к одному приветлива была...

— Знаю...

Пили чай, молчали. Наверное, перед каждым, стронутое напоминанием, оборотилось прошлое, молодость издалека-далека печальными глазами глянула. Увивались парни вокруг Нюроньки, хороша она была — я те дашь! А Нюронька лишь одного Сережку Колоскова не мела от себя. И парень-то не шибко видный был, а вот поди ж ты... Любила самозабвенно, да и сейчас, видимо, сердце схватывалось незатравевшей тоской. Не убоявшись сплетен, аж в Уральск поехала провожать Сергея. В ту осень сорок первого их, парней тысяча девятьсот двадцать третьего года рождения, ушло из поселка семнадцать. Все до единого! Обычно случалось — кто-то еще ростом не вышел, кого-то по брони оставят, у кого-то со здоровьем разладилось, в общем, из каждого призыва кто-то да оставался дома «воевать» с бабами да стариками, а из мобилизованных двадцать третьего года рождения ни один не зацепился, все ушли на фронт. Из семнадцати вернулись трое. Остальные сложили головы на полях сражений. Из возвратившихся были и Крайнов с Чумаковым. Уходили на войну восемнадцатилетними подлётывами, пришли с нее седыми, искалеченными.

Крайнов кивает на прибранный стол:

— Значит?

— Да ждем с минуты на минуту... Налить еще?

— Налей, хорош чаек... Спасибо.

— Ты как на пожар... Иль, правда, не можешь посидеть с нами, с нашим будущим зятем познакомиться? Ларионыч-то в посаженные отцы тебя метит. Мол, по всем статьям насквозь проходит: председатель местной власти, фронтовой товарищ...

Крайнов отхлебывает чай, молчит, уставившись в какую-то точку на стене. Шевелились, таили хмурь в глазах его густые брови. Они запоминающиеся на смуглом лице: черное и белое, черное и белое. Пегие. В юности они были черными, красивыми. Стали такими

расти после того, как обгорел в танке.

— Это он зря, — промолвил наконец. — В посаженные. Не умею я, право. Уж лучше Вавилкина, у него и манеры, и язык тыщу оборотов в минуту... А за Оню я рад! По слухам, хорошего парня выбрала.

— Мы-то с Ларионычем еще не видели, а так, слышно, очень хороший. Не пьет, не курит... В газете вот портрет его напечатали.

— Хорошее, симпатичное лицо, — кивнул Крайнов, возвращая ей газету. — Чрезвычайно, право, радуюсь за Тонюшку. Она ведь тоже... — С лукавиной окинул взглядом Филаретовну, и та зарделась вдруг ни с того ни с сего, самой неудобно стало.

— Скажешь тоже! Куда мне до нее...

— Н-ну, если сбросить...

— Не сбросишь, Иваныч... А Оня — что ж! Не зря Ларионыч дышал на нее, пеленки с-под нее стирал, купать без него не разрешал. Старшие-то двое умерли, вот и... Она и выпестовалась, лебедынька, на загляденье!

— Любит он потомков. Помню. Гришу с пеленок тоже везде с собой: и в лодку, и в кочегарку, и в лес...

Филаретовна засмеялась:

— И к горшку! Его посадит и сам кряхтит, помогает... Оню любит, а Гриня для него — все. Фамилия, говорит! Наследник! Продолжатель!

И опять заиграли чем-то недовольные крайновские пегие брови.

— Худо, право, если во всем в отца.

— В том-то и дело, Иваныч, что не в отца! Ларионыч-то вяз, дуб, а Гриня — кленочек гибкий да хлипкий. Квельй какой-то, мечтательный какой-то. Сердится иной раз Ларионыч на него. Ему хочется, чтоб из него мужичище, казачище, ну, как он сам!

— Это-то, Филаретовна, и беспокоит меня. Неправедная цель.

Она посмотрела на него пристально-пристально; сочувственно, намекаяюще прикоснулась к груди:

— Иль не утихло здесь-то? Долгонько носишь, Ваня.

Он крякнул, отставил чашку.

— Не о том я, Анна... У меня уж тоже дети взрослые. Не в обиде я, право. Ты — его, он — тебя, а третий всегда лишний. Ларионыч-то видный был, в орденах весь.

— Как у тебя все просто... Не в орденах дело, Ваня. Понастырней он был, девки силу, настойчивость любят. А третий... третий не лишний был, третий — сам знаешь, под Сталинградом лег.

— Знаю... В общем, не о том я, Аня.

— Об чем же тогда?

— О Ларионыче, о Грише... И вообще!

— Выходит, об том же. Завидуешь...

Крайнов поднялся. Что ей ответить? Почему-то никогда не понимала его Анна.

— Спасибо за чай-сахар!

Звякнула щеколда, резко отпахнулась калитка. Вошли удрученные Оня с Катькой. Ни на кого не глядя, быстро направились в дом.

— Неразлучные! — натянута улыбнулся Крайнов, занятый мыслями о разговоре с Филаретовной. — Как говорят, две подружки — обе вровень, одну в пристяжь, другу — в корень. Оня, я по бригадам еду, заночую, похоже, в третьей. Так что в Совете, если спросят, буду Завтра после обеда.

— Хорошо. — Девушки скрылись в доме.

Филаретовна проводила их высоко поднятыми скобками бровей:

— Поссорились, что ль? Ох, девки!

— Пусть у тебя все хорошо будет, Анна Филаретовна. — Крайнов надел свой танкистский шлем, спрятав глубокие залысины, седую кучерявинку чуба над высоким лбом, лицо без них стало и меньше, и как бы простоватее, всего-то на нем приметного — пегие кустистые брови. А со шлемом он не расстаётся с войны, оттуда привез.

Пошел к калитке.

— На свадьбу-то придешь? Если уж от смотрин бежишь...

— Ты считаешь — надо? — Он приостановился.

Филаретовна в нерешительности повела плечами, спрятала под фартуком полные белые руки, будто им вдруг зябко стало, и Крайнов подумал, что все-таки она кое-что понимает из их взаимоотношений, его и ее мужа взаимоотношений. Сказала нетвердо:

— Сам решай, Иваныч... Она-то у тебя в Совете работает.

— Приду.

Прямо перед его носом наотмашь отхлестнулась калитка, как с петель не сорвалась. Влетела Капочка, завопила так, словно выскочила из котла с кипящей смолой.

— Вашего!.. Вашего ведут! Связанного! Ужас! Страмотишшша!..

Филаретовна схватилась за сердце, непривычно потерялась, сразу — в голос, сразу — чуть ли не в крик.

— Кого?! Чего мелешь, Капитолина?!

— Твоего! Ларионыча преподобного! Страмотишшша-а! — Прическа ее сбилась, но Капочке, видно, не до нее было, она ахала, охала, всплескивала руками, точно конец света близился. — Страмотишшша!

За воротами — какая-то возня, злые, с придыхом выкрики. Кажется, голос Чумакова:

— Никуда я от дома, сопляк! Хоть убей!..

— Пойдешь, дядя, пойдешь...

Опять возня, и в калитку бухает тяжелый рыбацкий сапог, вваливается Чумаков, руки за спиной. За ним, прихрамывая, врывается и Артем. Он дик и пьян от своего несчастья.

— Что такое? — отступил с дорожки Крайнов.

— Ужас! Страмотишшша!

— Иваныч! Однополчанин! Спаси хоть ты от этого! — Чумаков резко поворачивается к нему связанными руками. — Развяжи!

— Пусть только попробует! — надвигается Артем,

деревеня спиной, на которую, как он полагает, смотрит из окна Оня. — Пусть попробует!

— Да в чем дело, право?

— Нарвись вот так на дурака с большой дороги...

— Мели, да оглядывайся, дядя! — у Артема сжимаются кулаки, и Крайнов невольно смотрит на них, на его руки: отменные маховики, зацепят такие — любого сомнут.

Капочка по-прежнему ахает-охает, Филаретовна держится за сердце:

— Господи, да что случилось-то?! Где вас так черти возили по грязи? Господи...

— Действительно, в чем дело?

— Да ты развяжи допрежь, Иваныч!

— Не смей! Это не я, это он, разбойничек с большой дороги... Между прочим, вы-то, гражданин, чего встреваете? Или и вам ручки связать?!

— Как страшно! Объясните, в чем дело...

— Ветерана, орденосца...

— За такие дела я б снимал ордена!

Крайнов прошагал на веранду, на подоконнике снял с аппарата телефонную трубку:

— Алло, Люся... Соедини меня с квартирой участкового... Спасибо...

Капочка всплескивает руками, охает перед Артемом:

— Ты что ж это, глупышечка! Ах! Ох! Беда-т какая! Это ж, глупышечка, председатель сельсовета! А ты на него...

— Товарищ младший лейтенант? Будь добр, подойди к Чумаковым... Да. Тут сыр-бор... Да. Поторопись. — Опускает Крайнов трубку и смотрит, как поднимается по ступеням Чумаков, тяжело топают, словно на лобное место поднимается, словно к плахе идет. — И что ж это ты натворил, Ларионыч, в голову не возьму? Сидел, поди, с удочкой, а тебя...

— Скалься, однополчанин, скалься... Из одного котелка, под одной шинелью. Грех, Иваныч, изголяться!

— Не изголяюсь, Ларионыч, думаю, гадаю... Однако ж

крепко он тебя... запутал... Не развяжешь. Хоть ножом режь...

Чумаков потирал освобожденные руки, люто сверкал глазами на Артема:

— И меня запутал, и сам запутался. А участкового ты, Иваныч, зря. Лишние разговоры. Сами как-нибудь разберемся.

— Гриня-то, мальчишка, где?! — прорвалось у Филаретовны отчаяние.

— Беда-т какая, — мелко-мелко кивает, вертится рядом Капочка. — Ужас просто...

— Тащи огурцов соленых! — кидает вместо ответа Чумаков. — Ну! — Сам вынес из сенцев ящик с водкой, бухнул возле стола. И опять — Филаретовне: — Ну! Кому говорю!

Не успели все оком-глазом моргнуть, как перед ним в полный рост, по стойке «смирно» встала бутылка.

— Бешеный... — Филаретовна ушла в дом, столкнувшись в дверях с Катькой.

— И все-таки я не все понимаю...

— А чо понимать, Иван Иваныч? — удивляется Катька и кивает на Чумакова: — Эти рыбачили, а эти, — кивает на Артема, — их прихватили. Ну, подрались во весь дух. Чо тут непонятного! — Посмотрела на Артема, потерянно притулившегося к забору, и смех и грех. Шляпа захватана грязными руками, брюки, пиджак извожены илом и глиной, правый рукав под мышкой распорот по шву. Крутнулась в сенцы, воротилась с одежной щеткой. — Давай почищу... — Артем молча вырвал у нее щетку, Катька хмыкнула: — Ах, какие мы сердитые... Лопушок! — Он так глянул — будто ветром отшвырнул к веранде. — Ой, ой!..

— Господи, мальчишка-то, Гриня, где? — не унималась Филаретовна, ставя тарелку с огурцами.

— Да не скули ты! — ощерился на нее Чумаков. — Никакая болячка его не взяла!.. А рюмки где? — Резко, повелительно мотнул рукой: — Тащи на всех! — И чуть ли не слезу пустил в голос: — Фронтовика, ветерана!

Через поселок... Связанным! Понимаешь, Иваныч?! — За ушко сорвал с бутылки пробку. — Подходите, ребята! Запьем всю эту... И разойдемся с миром!

— И правда! — ласково кивает Капочка, присаживаясь у краешка стола.

— Доигрался... — Филаретовна ставила рюмки.

— Не скули-и-и, — шепотом просипел Чумаков. — Айда, подходи, Иваныч. И ты, герой!.. Что, нос воротите от моего угощения?

— Не время, Ларионыч...

— И правда! — вновь покивала Капочка и поднялась.

— Да я на одном гектаре с вами не сяду, не то что за одним столом! — Артем яростно ширкал щеткой по штанине.

— Ся-а-адешь! — Чумаков опрокинул рюмку в рот, покрутил пятерней у груди: — Если тут завелось, сядешь! У этой штуки коготки острые!

— И правда!

— Неужто? — Филаретовна начала догадываться, кто к ней распожаловал: взяла газету, посмотрела на Артема, посмотрела на портрет. — Неужто?! И ты... ты... его? — качнула головой в сторону мужа. — Да?

Крайнов, кажется, тоже все понял, но не торопился. Недовольно подвигал пегими бровями:

— Чехарда какая-то... Внесите ясность.

Артем рванулся с места, ткнул пальцем в газету:

— Вон моя ясность! Смотрите, читайте!

— Завидуйте! — насмешливо вставила Катька. — Я — гражданин Советского Союза!

— Да, гражданин! — зло повернулся к ней Артем. — Гражданин!

— Ну, чо развыступался? — Она уперлась локотком в перила веранды, подбородок положила на кулачок, смотрела на Артема с откровенной насмешкой. Нехотя оглянулась на севшего Крайнова: — Вы чо, Иван Иваныч? Ну, это Онькин жених, Артем... И вся ясность.

— Господи, позор какой! — прижала Филаретовна уголок фартука к глазам.

— Не говори, шабриха! Беда так беда...

— Ну, право, историйка... Много они поймали, Артем?

Чумаков опередил Артема:

— Какой много, Иваныч! По чебаку на гостя. К свадьбе ж ладилась, сам знаешь.

— Из-за этого сыр-бор?

— Младоумие у него еще, Иваныч! Не собравши разума, взялся за неизвестное дело, — торопился, втолковывал Чумаков, а сам ел, грозил Артему глазами: молчи, парень, ох, молчи, добром прошу! — Авдеич его подбил по нечаянному случаю. Авдеич же, сам знаешь, пороховитый какой, из ничего буранится! Да с ним-то мы смиримся, отходчивый...

— Так-так-так! — Крайнов постукивал пальцами по столешнице, мерил взглядом то Артема, то Чумакова, хоронил в глазах смешинку. — Кто кого обкосил, кто кого обхитрил, а? — Говорил он скучным голосом, будто ему тысячу раз надоели разбирательства с пойманными браконьерами. — Историйка, право.

— Вот именно, Иваныч! — с воодушевлением подхватил Чумаков. После пережитого, после выпитого его словно прорвало: — Ты меня, Иваныч, конечно, обругай, намыль холку. Виноватый я, конечно, малость. Понимаю опять же: ты — при службе, хотя и воскресный день, а я нарушил как-никак... Оно, конечно, из-за метившейся свадьбы. Из-за него вот с Онькой. Эх, Артем-Артемушка, несуразность-то какая располучилась! Ну не печалуйся, авось Антонина простит твою малую промашку, она у нас сознательная, понятливая...

— В войну таких, наверное, к стенке ставили, — Тяжелым взглядом Артем давил юлившего, заискивающего перед Крайновым Чумакова. Швырнул Катьке щетку, та осуждающе головой качнула: во, дескать, характерец, может, это хорошо, что раскрылся загодя, — Оньке век длинным показался бы с таким муженьком.

— На фронтовика — такое! — У Чумакова глаза пучились красными прожилками, но он ломал свою гордыню, он вел свою линию на то, чтоб кончить все миром. — К нему... с раскрытой душой, с прощением как к сыну, а он мне... мерзкие речи. Я больше ничего не говорю, Иваныч. Ты — власть, ты и решай. — Он обиженно засопел и отвернулся.

— Так-так-так! — опять побарабанил пальцами Крайнов и потянулся к телефону: — Люся, больницу...

Справился, поступил ли в больницу Нил Авдеич, каково его состояние, и еще что-то спрашивал, и еще, а на ответы отзывался все тем же своим «так-так-так». И не понять по этим «так-так» его настоящего отношения к случившемуся. По крайней мере, Артему казалось, что однополчан ему не прошибить, что они — заодно, что для блезиру Крайнов лишь поиграет в строгого представителя власти. На какое-то время отступили, оставили Артема гнев и желание драться с этими однополчанами, он почувствовал усталость и безразличие к тому, как завершится вся эта дешевая игра в поддавки. Оставалось оторваться от перильцев крыльца, выйти на улицу и поискать попутную машину, чтобы уехать домой, в бригаду, к товарищам...

А на бельевой веревке счастливо верещали ласточки. Где-то поблизости страстно ворковал голубь. На коньке скворечника, прибитого к высокому шесту у ворот, свистел, пощелкивал, пританцовывал, всплескивал крыльями скворец. Весь черный, он вспыхивал и солнечными, и фиолетовыми, и синими бликами. Ух, как он был рад и весне, и солнцу, и своей любви! Когда скворец умолкал на две-три секунды, из теплой синевы неба слышалась песня жаворонка. Вдруг всех заглушила, перекричала курица. Она снесла в сарае яйцо, шумно слетела с гнезда и минут пять, наверное, кудахтала — сначала в сарае, а потом во дворе. Непереносимая хвастунья! Можно подумать, золотое яйцо снесла!

Минувшая зима была снежная, лютая, а в сердце

Артема даже в сорокаградусные морозы струились теплые гольфстримы, потому что рядом была Оня, потому что каждый день встречался с ней, потому что, потому что... Э, да после знакомства с Оней разве мало было поводов для того, чтобы в жилах его весна журчала! А теперь и под жарким солнышком зябко, запах вешних молодых трав, запах молодого тополиного листа не радует. Как посмотрела, как швырнула в лицо галстук! Только что не плюнула в глаза. А за что? За что?! За то, что не понял, не оценил: для них ведь, для их свадьбы старался и на риск шел отец... Верно, конечно, на риск, да еще на какой! Только не тогда, когда веслом в воде работал, а когда веслом головы взялся крушить...

— Артем!.. Артем, что ли!..

Не только не слышал он, о чем переговаривались Крайнов с Чумаковым, он не сразу понял и то, что к нему уж в который раз обращаются. Услышал наконец. Увидел: Крайнов смотрит на него с сострадательной улыбкой, шевелит пегими кустистыми бровями. Как бы вновь, но теперь уже вблизи, увидел Артем лицо председателя Совета. И оно не было столь моложавым, как показалось при первом взгляде. Возле глаз выжались «куриные лапки». Щеки, лоб — в каких-то лаптастых пятнах. В волнистых темно-русых волосах взблескивает, точно рыба на глуби, седина.

— Значит, вы, Артем, — глаза у Крайнова маленькие, коричневые, как спичечные головки, — вы не знали, что это отец вашей невесты?

Артем вызывающе вскинул голову:

— Какая разница?!

— А если б знали, ввязались бы? Пошли бы с Нилом Авдеичем?

— Да ни в жизнь! — решительно и быстро воскликнул Чумаков, и вставные зубы его, как почудилось Артему, на мгновение ослабились, заставив подумать: «По себе, что ли, примеряет, свое тавро на мне выжигает?» — Ни в жизнь, Иваныч! Говорю ж, от младоумия получилось.

— Не тебя, Ларионыч, спрашиваю! — раздраженно остановил Крайнов. — Артем, а?

Опять в груди Артема — бах! бах! бах! Того гляди решетку ребер повышибает. Бешеными толчками, оглушая, рванулась в голову кровь. «Да они что ж... Они что ж, хотят зверя во мне?.. Они что ж!..» — Артем медленно поднялся по ступеням, осторожно, словно это был стеклянный сосуд, оставил встретившийся стул и шагнул к Крайнову. Нижняя челюсть его вздрагивала. Он облизал шершавые губы.

— На чувствах играете?!

— Во, вишь?! — отодвинулся Чумаков.

— Караул! — легонько вскрикнула Капочка и юркнула

— Без горячки, парень, — построжал Крайнов.

— Без горячки?! А ты чувства не трогай! Не вмешивай девушку!.. Я вот пошел! Я вот привел его вам! А вы... что ж, сроду ничего о нем? Вы же... советская власть, черт побери!

— Во, вишь какой, Иваныч?!

— Да, я такой! Не такой, как вы! Если б не было вас таких...

— Иваныч, он же оскорбляет! Не шали, Артем, за это за самое, знаешь, что может быть? Не смей мне на родную советскую власть!

«Во дает! — невольно опешил перед таким напором Артем. — Во защитничек советской власти!» — Артем даже на Катьку глянул, мол, как она на это? Катька гладила по плечу Филаретовну и что-то нашептывала ей. Та нехотя кивала, потом встала и ушла в дом. «Катьке все это до лампочки!» — возмутился Артем и вдруг услышал смех.

Председатель сельсовета глядел на распаленного праведным гневом Чумакова и хохотал, то почти падая грудью на стол, то откидываясь на спинку стула. «И чего ржет! — психовал Артем. — Закатывается, аж за печенку хватается...»

А тот по-мальчишески кулаками вытер глаза и вылез из-за стола. Очень широкоплечий, был он вроде бы

низкорослым, но встал рядом с довольно высоким Артемом и оказался почти вровень с ним. Стояли они лицом к лицу, и Артем совсем рядом увидел красные, с лиловыми оттенками пятна на щеках и лбу председателя. Такие после огня остаются — на всю жизнь.

Крайнов Артема — по плечу ладошкой:

— Успокойся. Парень ты, гляжу, не дурак.

— Дурак — и немалый! — не выдержал Чумаков.

— И ты поуспокойся, — повернулся к нему Крайнов.

Чумаков, разумеется, «поуспокоился», голос мягкий, пуховичком стелется:

— Так ты пошел, Иваныч? Счастливо, однополчанин... Ну, штраф там это... общественное порицание — я согласный. Первый раз ведь...

— Слушай, Ларионыч, пойдём-ка мы с тобой в сад? Давай сходим, а?

Тот с готовностью вскочил, сдернул с себя брезентуху, бросил на перила веранды, с нее гривенниками посыпалась подсохшая рыбья чешуя. Повел рукой на ступеньки, чуть ли не с поклоном:

— Милости прошу, Иваныч, милости прошу!

— Будь вы все прокляты! — Артема сорвало с места, кинуло с крыльца, но Катька обогнала его и закрыла спиной калитку, расставив руки. — А ну? — Артем попытался отстранить. — Пусти...

— Ну, чо, чо, светел месяц? — Она напирает на него, наступает на носки, и он вынужден пятиться. — Не светел — зеленый, как три рубля? Развыступался! — Перехватывает его взгляд. — Тебе не нравится моя мини-юбка?

— Мне не нравится твой мини-лоб.

— Ха-ха-ха! Обалдеть можно! Лоб-то у меня — макси. И Оне, если хочешь, я вся нравлюсь. Без меня, говорит, как без соли. А вот ты — разонравился.

— Слушай, кукла... Отойди!

— Еще чо, ха! От кукол дети не рождаются. А я б от тебя — девятерых, матерью-героиней — с

удовольствием.

— Шалавая... Где Оня? Дома?

Катька притворно округляет глаза:

— Тебе не все равно?

«Чего она выкобенивается передо мной? — злобился Артем, видя, что от порога сенцев хитренькими глазками прислеживает за ними Капочка, легонечко кивая черной, в зализах, прической. — И эта вороная дама черт знает что, наверное, думает! А это еще что за фокус?» — С невероятно серьезным видом Катька обошла его вокруг, поспешно сказала, опасаясь, что он сию минуту сорвется, отшвырнет ее и уйдет:

— Извини... Я рассматривала. Думала, голова у тебя на том месте, — она легонько шлепнула себя сзади, — которое я позабыла, как называется по-латыни. Оказывается, как у всех. Даже удивительно. И не пойму опять же: парню есть над чем подумать, а — нечем...

Вздрагивают оба от неожиданного, зычного выкрика Капочки, обернувшейся с дорожки к сенцам:

— Так я пошла, шабриха! У меня хлебы в печи!..

Остановилась возле парня с девушкой, поразглядывала, поджав сухие губы, пальцем отманила Артема. Привстав на носочки лаковых туфель, припала губами к Артемову уху, глазом — на Катьку:

— Беспутная... Одна другой стоят, вот ей-богу! Уже не замужем. Выскочила за наезжего пустобреха, а теперь — ни девка ни баба. Истинный бог!

Артем молча взял ее за плечи, повернул к себе спиной и вежливо выпроводил за калитку. Закрыв за ней дверь. С улицы взвился слезливо-гневный выкрик:

— Вот она, нынешняя молодежь!

Артем повернулся к девушке:

— Какие еще тебя мысли тревожат?

— Мысли, светел месяц, приходят и уходят, а голова остается. В моей голове сейчас — ни одной путевой мысли. Вот скажи, что такое счастье? Не умеешь сказать?

— Я знаю, что такое несчастье...

Катька, кажется, не слушала его. Она прислонилась спиной к доскам ворот, подняла к солнцу лицо, смежив рыжие длинные ресницы.

— Я вот... всю жизнь считала Оню счастливой. Все лучшие платья — на ней. Все лучшие парни — ее... Но иногда мне казалось, что быть постоянно счастливой — это несчастье. Скучно! Как ты смотришь?

— Оня дома?

Катька опять — ноль внимания.

— А мне, знаешь, всегда не хватало счастья. У меня оно всегда — как февраль, который даже в високосном году короток...

— Тебя Оня выслала сюда?! — окончательно терял терпение Артем.

Катька проснулась, не только проснулась — она округлила глаза, удивленно дрожа густой рыжиной ресниц:

— Ты чо, светел месяц! Слепой? — Она громко, демонстративно задышала: — Не видишь, что я на тебя неровно дышу!

— Хороша подруга!

— Ловлю свое счастье! — притопнула, выбила чечетку Катька, но тут же сбросила голос, сказала грустно и тихо: — Ты, ясный месяц, не кати на меня бочку. Никто меня не присылал. Ты чо, Оньку не знаешь? Да она... Мать ей: поди к нему, он же тебя любит, он на все ради тебя. Онька так зыркнула, что мать аж перекрестилась, хоть неверующая. — Длинно вздохнула: — А тебя она любит

— Чувствую! — досадливо хмыкнул Артем. — На берегу — особенно почувствовал.

— Чюйствует он! — Приблизилась, снизу вверх заглянула в его глаза: — Но ты ж... все равно любишь? Любишь?

Артем отвел глаза:

— Не лезь ты сюда! Без того тошно.

— Тошно ему! Ему, видите ли, тошно! — Она, заложив руки за спину, прошла перед ним. — Я думала, ты —

орел, а ты... Да Оня, если хочешь знать... За нее — бороться, драться! А ты! Она, может, и полюбила тебя за то, что сильным, искренним показался... А на берегу... Ха, невидаль! Он все ж таки отец ей... Тупой ты, как бульдозер! — Схватила за скобу на калитке: — Пойду!

— Попутного ветра.

Она замерла вполоборота к Артему, одиноко, нелепо застрявшему на чисто подметенной дорожке между домом и калиткой, в этом большом, но тесном от сараев, катухов и пристроек дворе. Все тот же безбожно вывоженный костюм, захватанная шляпа, грязные полуботинки.

Она не пожалела, не посочувствовала ему. В эту минуту ей было жалко себя.

— Ветер-то есть, лапушка, да парусов нет. Вот и швыряет меня по-всячески, не знаю, куда прибьет-выбросит А ты, ясный... ты — думай, думай! — Тряхнула рыжими волосами, повторила с нажимом: — Думай!

Парней так много холостых,
А я люблю женатого...

Скрылась за калиткой. Артем тоже взялся за скобу.

— Не уходите, Артем! — крикнул из глубины сада Крайнов.

5

Оня сидела на кровати в своей комнате... Сидела в одной комбинации с кружевами по лифу и подолу. Кружево нежно мережилось выше ее незагорелых коленок. В меру полноватые красивые ноги, высокая грудь, красивая линия опущенных на колени рук. Другая бы сейчас — в подушку мордой, опухла бы от рева, или во двор зарысила, в колени перед суженым пала: не позорь, не срами, спаси честь семейную! Оня — в маманю. Сорвала одну бирюзовую клипсу, другую, похрустывает ими в кулаке. Лицо серое, и глаза как бы погасли, как бы печным пеплом припорошились.

Заглянула к ней Филаретовна, подперла тугим плечом

косяк, повздыхала:

— Судишь, дочка, коришь?

Оня отмолчалась, хотя и повела на мать чужими, как сквозь голубоватое стекло смотрящими, глазами. Филаретовна всегда узнавала себя в ней, но сейчас оскорбилась, прочитав в ее взгляде нечто незнакомое, отталкивающее от себя. Таким взглядом нередко и сама Филаретовна одаривала тех, от кого хотела отгородиться, кого хотела придержать на расстоянии.

— Из-за какого-то чебачка такую бучу подняли! Вот люди. Сам не гам — и другому не дам. Ну ладно Авдеич, тот давно из ума выжил. А твой Артем?! Ему-то чего лезть? Чужало мое сердце, довыбираешься ты, дозадаешься. Вот и нарвалась, как щучка на острогу!..

Оня взглядом — мимо матери. Мыслями — тоже мимо нее. И Филаретовна поняла это, материнским сердцем поняла. Откачнулась от косяка, провела ладонью по Ониным волосам:

— Не убивайся, дочка...

Оня хрустнула клипсами в кулаке, кинула их на столик. Разомкнула высохшие, зашелушившиеся вдруг губы, обнажила холодок белых ровных зубов:

— Я и не убиваюсь. С чего вы взяли, маманя?.. Позови Катерину. Чего она там... с этим!

Филаретовна покачала головой: дочка никак и ее превзошла характером. Вышла, но Катьки уже не было во дворе, один Артем в шляпе потеет, под навес сарая спрятался, с Полканом в переглядушки играет.

Окно Онинной комнаты недавно прорублено в задней, полевой, как говорят уральцы, стене. Штакетник у этой стены поставлен недавно, топольки-подростки еще не застили окна, и глаза Онины — туда, вдаль. Прямо — дорога, на которую с утра все взглядывала и взглядывала, ожидая Артема. Слева — Урал, затопленное левобережье, подкова высокого яра, подкова ее, Они, несчастья: там, на одном из его прогибов, уклонов, произошла встреча, произошла беда... Справа — пашня, степь, жаворонки над ней,

орел кружит по небу, словно часовая стрелка. На крутом бугре покачивается в мареве, словно бакен, треногая вышка. Чужой бакен, не ее... Похоже, слишком смело и прямо, без оградительных, предостерегающих бакенов, плыла она все эти годы, да вот и наскочила на подводную затаенную мель. На двадцать первой своей весне будто с высоченного зеленого дерева сорвалась в грязную лужу. Шлепнулась в нее, брызнули в разные стороны лягушки, а потом опамятовались и заквакали, заторжествовали: «Это та, что свадебную фату примеряла, та, чей отец браконьер и преступник! От кого жених отказался! Ква-ква-ква-ква!»

Прислоненная к стене, молчала на столике фотография Артема — девять на двенадцать, бумага толстая, тисненая. Взяла в руки. Немодная стрижка — лихой, напрочь отброшенный чуб. Вздернутый нос, смеющиеся глаза, смеющийся рот. Такая симпатичная, такая милая ямка на подбородке...

О, как он здесь не похож на того, которого увидела на берегу! Видно, в каждом человеке уживаются черт и ангел. Только в ком-то черта больше, а в ком-то — ангела. Кого в Артеме больше? Уж не ангела, конечно, нет! Она не любила кротких, бесхребетных. Ну, вот и — пожалуйста: нарвалась на черта. На сатану!

Пальцы обеих рук сомкнулись на твердом картоне фотографии — разорвать на мелкие кусочки, пустить за окно, пусть ветер несет в обратную, той же дорогой. Не решилась. Поставила на прежнее место.

А сама она какая? Кого в ней больше? Вспомнила вдруг, как во время учебы в райцентре попала однажды на интимную домашнюю вечеринку. «Там все по-современному будет! — шепнула ей, приглашая, одна девчонка. Там не скучно...» На курсах ее, эту девчонку, многие маминой дочкой звали, такая она была смиренная, застенчивая, замкнутая. Но там, на вечеринке, безотказно выпив и раз, и другой, и третий, она как бы сошла с пазов, похабничала вызывающе, садилась парням на колени целовалась при всех.

А следующим утром сидела на занятиях с темными кругами вокруг глаз и опять была тихой, застенчивой «маминой дочкой». И Оня думала: отчего, по какой причине люди вот так неожиданно меняются? Почему они иногда как бы двумя жизнями живут — одна для себя а другая — напоказ?

На вторую вечеринку Оня отказалась идти, а вскоре познакомилась на танцах с Артемом. Такая вдруг вспыхнула в Оне любовь, что места себе не находила, если Артем почему-то не приходил или хотя бы опаздывал на свидание. И ревновала, и плакала тайком от всех, но перед людьми, перед Артемом держалась как подобает. И предложение пожениться приняла вроде бы с неохотой, несколько дней не говорила ни «да», ни «нет», хотя душа-душенька жавороночком пела. Правда, тревожилась: как-то встретят ее решение родители? Хорошо встретили. А теперь вот!..

Почему же вспомнилась тебе, Онечка, та «мамина дочка», а? Ну да, понятно, Артему она, Антонина, тоже показалась теперь вроде той двуликой тихони. Не может, не имеет он права так думать! А почему, Онечка, почему не имеет? На самом деле, почему? Ишь, какая расхорошая! Если такая светленькая, без пятнышка, то как же это не видела ты, что твой папаня втихаря разбойничал на Урале? Ты, скажет Артем, притворялась, что не видишь, не знаешь, не слышишь? Тебе, Онечка, нравилось, что папаня одевал тебя как куколку? Ты не задумывалась, Онечка, с каких денег такой достаток в вашем доме? Если вы, Чумаковы, действительно честные люди, то поделитесь секретом, как это вы умудряетесь обходиться шестьюдесятью рублями папани-истопника? Ты-то, Онечка, только-только начала работать! А у вас еще и Гринька школьник, у вас маманя в жизни своей, быть может, всего неделю без году отработала на производстве...

Я правильные, скажет Артем, вопросы ставлю? Правильные, Антонина Матвеевна? Я, мол, их на ребро, прямо ставлю, ответь и ты мне прямо! Как она ответит,

какими словами? Промолчит? Словами папани попробует отгородиться? Дескать, люди не умеют жить, потому их зависть грызет, потому готовы Чумакова с потрохами слопать. Но, дескать, сунь им в руки кусок осетра или банку икры — в благодарность сапоги будут лизать. Подл человек, говаривал папаня, ой как подл! А ты, Онечка, не соглашалась с ним, нет? Может, и не соглашалась, да ведь и не протестовала? Так? И не гнулась под людскими взглядами, когда, провожая тебя глазами, односельчане качали головами: «На какие деньги так одевает Чумаков дочь?» Ты полагала, что шепоток такой — от затаенной зависти? Полагала, Онечка? Или и сейчас полагаешь?

Будто слышит Оня Артемов голос, будто над душой стоит Артем. И ковыряет, ковыряет ее вопросами — едкими, точными. Не увернуться! Глянь, Онечка, оглядись в своем доме, все ли в нем праведно: и достаток, и мысли, и поступки? Кинь глазом на маманю свою: крепкая, незаезженная жизнью, «моя печка» — величает ее иногда отец. А что она соседкам со вздохами стелет? «Только на уколах держусь, бабоньки, только на уколах!» И везет ее папаня в район, везет в Уральск — к врачам. А в кошелке балычок да икра. Хочется ему к немолодым годам мамане пенсию выхлопотать — по инвалидности... Всегда заботился о ней: «Дома сиди! Ты — хранительница семьи, династии. Пока у меня голова-руки целы, без куска хлеба с маслом не будем!»

Посмотрит на все, взвесит, поразмыслит Артем и скажет: «Вон вы, Чумаковы, какие. Ради наживы можете на все, можете и человека ухлопать. Ты, Онюшка, ничуть не лучше папани и мамани, не зря говорят, яблоко от яблони далеко не катится. Не зря, похоже, насчет обручальных колец беспокоилась — золото в цене нынче, твердая валюта. — И, прежде чем навсегда уйти, вздохнет и молвит: — Нет уж, Онечка, если совесть засорена, то ее не оживишь. Это — как тесто, в которое и горох и картошка намешаны, оно ни

при каких дрожжах не поднимется...» И попробуй ему другое выставить, нет больших, чем у него, козырей!

«Где он, мучитель проклятый? Все во дворе мается, справедливости ищет? — И вдруг страх потерять Артема пронзил все ее существо. Она натянула через голову простенькое ситцевое платье и вышла в горницу, сквозь атласные листья фикуса глянула в окно, сразу же сдавило горло: Артем устало подпирал плечом соху навеса, смотрел на кипень сирени, в которой неумолчно жужжали пчелы и шмели. — Да взгляни же сюда, сюда, на меня! Неужели я тебе такая плохая? Взгляни!..»

Артем взглянул, и Она отпрянула в глубину горницы, хотя знала, что за тюлем, за фикусом, в полутемной комнате ему ничего не увидать. Просто он, наверное, почувствовал, что на него смотрят. А может, уже тысячу раз взглядывал на окна, пока Она сидела там, у себя. Покосилась на себя в простеночном зеркале. Оторопела: на лице не глаза, а два мокрых пятна. Даже зажмурилась от неожиданности и страха. Опять взглянула: глаза как глаза... Шут знает, что примерещится!

Тут же метнулась к другому, открытому, окну, к тому, что в палисадник, на улицу. Оттуда ворвался надсадный мальчишеский вопль:

Икорка черная, а рыбка красная,
А ловля самая штрафоопасная!

И вслед — разнобой азартных, ехидных, убивающих выкриков:

— Эй, окунь! Говорят, насадку вместе с крючком проглотил?!

— Теперь они вместе с отцом икру мечут! Глянь, штаны в желтой икре! Г-гы-гы! Х-ха-ха!

Упираясь из последних сил, Гринька катил молчаливый мотоцикл, рукавом то и дело смахивал пот с лица, а вокруг него неистовствовала охальная орава пацанов. Малек, семиклашка сопливый, кричал и скалился больше других, причем пытался даже прокатиться, вспрыгивая на запасное колесо. Гринька

не выдержал, бросил рога мотоцикла, и пацан огреб пинка под копчик. Взревел благим матом. В ту же минуту Гриньку сбили с ног, его месила целая дюжина мальчишеских кулаков.

Оня рванулась было закричать, но увидела, как из калитки выскочил Артем.

— А ну! Семеро на одного?!

Фыркнули в разные стороны, словно вспугнутые воробьи. Издали смотрели, как поднимался, как отряхивался, как растирал под носом кровь «хапуга», «браконьер», «белужатник». Прошлым летом один из таких пацанов нырнул на Урале — да и остался у дна, зацепившись за браконьерские крючья. Не было установлено, чья потайная преступная снасть перегораживала реку. Злые языки грешили на Чумакова, да ведь не пойман — не вор, догадки — не доказательство. Возле поселка отец не ставил «концов», как называют эти переставы уральцы, это Оня знала точно, да ведь на чужой роток, как говорится... Попались сегодня Чумаковы на другом, и мальчишки не упустили случая хотя на Гриньке отыгаться.

— С мелюзгой справиться не можешь, значит? — Артем высился над Гринькой и криво, сочувственно усмехался. Шляпа надвинута на глаза, пиджак нараспашку, кулаки в карманах брюк. — Только на браконьерство горазд?

— Зачем вы? — Гринька сплевывал кровь и пыль. — Не браконьер я...

— О? Ну, прости, ежели так... Под впечатлением. Слышал, у вас в прошлом году на крючьях один такой...

— Они из приезжих... Местные не нырнут, знают...

— Что — знают?

— Про крючья. В любом месте можно наткнуться.

— Хм... Тебе-то откуда известно? Сам или с отцом... ставил?

— Зачем вы так? — обиженно вскинул Гринька глаза на Артема, казалось, он вот-вот расплачется. — Зачем? На Чумаковых все теперь можно, да?

— Конечно, можно. Замаранный далеко виден.

— А кто нас?..

— Замарал? Эх, ты-ы...

«Да о чем же вы, да что ж у вас за разговоры?!» — хочется выкрикнуть Оне, мечущейся за тюлем у окна. Как бы могло быть все хорошо, если б, если б не... Сидел бы сейчас Артем рядом с ней, чокался и целовался с ее отцом, смешные небылицы рассказывал бы (умеет!) вот этому истерзанному, вывоженному в пыли мальчишке... И все еще греется на доньшке души, шевелится надежда может быть, Артем очнется, уговорится с Авдеичем, и все уладится тихо? Он же не дурак, он же должен понимать. Господи, а может, дурак? А может, он вообще черт знает какой? Что ей известно о нем? Тракторист, живет в общежитии, готовится в институт на заочное... А еще что? А ничего! Влюбилась, врезалась по самые жаберки, по самые плавники, как ни трепыхается, а не может вырваться, кажется, еще больше запутывается...

А проклятый Артем стоит перед Гринькой. Оба молчат, и оба никак не реагируют на выкрики и гыгыканье раздраженных неоконченной дракой пацанов, опять сбившихся в рой. Наконец повернулся-таки Артем на их запальчивую разноголосицу, прищурил под шляпой смеющийся глаз, погрозил тяжеленным кулаком:

— А ну, атаманы! — И — к Гриньке: — Учись приемам самбо. Сгодится в жизни... Что с мотоциклом?

— Пока Авдеича клал в больницу, кто-то из них, кивнул Гринька на пацанов, — с карбюратора топливный шланг сдернул. Весь бензин вытек... Что там? — теперь он кивнул на дом.

Артем пожал плечами, сел боком на заднее седло мотоцикла:

— По-моему, ничего существенного. Самое существенное, пожалуй, то, что я не стану вашим зятем... В остальном, как мне кажется, круговая порука. То ли мы с Авдеичем кривы, то ли все остальные, то ли

мы лишь в профиль красивы, то ли остальные... Кстати, как Авдеич?

Гринька опустил глаза:

— Стонет. Без сознания... И зря вы с ним... Он недавно здесь, не знает наших порядков...

— Порядков? — насмешливо переспросил Артем

— Ну... Здесь многие предпочитают рыбкой кормиться.. Рыбинспектора пройдут на катере, повыдирают кошкой концы, а через два-три дня они опять везде понаставлены.

— Так уж и везде?

— Ну, в таких местах, где... наверняка... Кое-кого уже судили, один даже в тюрьме сидел...

— Значит, все-таки... А что, если и вас с отцом осудят?

— Не получится! — решительно мотнул головой Гринька, тоже присаживаясь. — У нас не красная рыба, не икра.

— А Нил Авдеич? Как-никак, покушение на жизнь.

Гринька молчал. Довод был сильный. О происшествии, как он понял, знал и говорил уже весь поселок. Знала, наверняка, и одноклассница Лена. Еще вчера, вчера... Гринька взглянул на сирень в палисаднике, упругие кисти цветов вываливались через штакетник, в них жужжали, копошились золоченые пчелы. Гринька прикрыл глаза, жадно вдохнул сладкий, пьянящий запах. Вчера, это было вчера. Лена принесла в школу две ветки сирени и одну из них протянула ему: «Давай искать цветки с пятью лепестками? Говорят, они счастье приносят. Кто больше найдет, тот и счастливее...» Больше нашел он. Но ведь то было вчера, вчера! Какими глазами встретит Лена завтра?

— В школу мне завтра, — прошептал он подавленно. — Как я?

Артем посмотрел на него и сочувственно, и насмешливо:

— Что-то не пойму. Ты ж говорил, у вас тут такие порядки, никто не ткнет пальцем. — Гринька молчал, и

Артем заметил, что в глазах его копились слезы. Их даже Оня видела. Артем вздохнул: — Печаль велика, конечно... А куда, скажи, мне? Тебе — завтра. А мне — сегодня! Я ведь, Григорий, к невесте ехал, к сестре твоей. Я насчет свадьбы ехал. Ребята в бригаде уж на подарок сбрасываются... Мне куда, скажи? Молчишь? Знаю, думаешь: ну и ехал бы, шел бы к невесте, не ввязывался в эту историю! Так?

К Чумаковым опять шла-бежала Капочка, возле калитки остановилась, ввела Артема с Гринькой в «курс дела»:

— Милиционер у клуба задержался! Там двое пьяных во весь дух разодрались... Счас, сказал, придет. — Шмыгнула в калитку, тотчас ее пояснения послышались и со двора.

«Эка радость!» — одинаково подумали парни. Действительно, чего радоваться Гриньке? А чего — Артему? И без участкового ясным-ясно, что все будет смазано и замазано. Протокол начнет составлять? Привлечет Чумакова к ответственности? Непохоже!

Артем ссунулся с заднего седла, предложил:

— Давай помогу мотоцикл вкатить. Отворяй ворота...

Они вкатили мотоцикл под навес. Артем опять сел на заднее сиденье, а Гринька пошел к кадушке под водостоком веранды, она была всклянь воды. Поплескал себе в лицо, вытерся полкой джинсовой куртки, вернулся к Артему. Сел на передок коляски.

— Вы, Артем, сказали... Нет, вот вы... пошли бы против воли своего отца? Честно!

Наверное, думал, что поставил Артема в тупик. «Пацанишка зеленый!» — Артем увел взгляд с его выжидательно-настороженного лица, посмотрел в глубину сада: там все бродили и о чем-то говорили Чумаков с Крайновым. Вроде как цветущие яблони и вишни осматривали: дескать, хорошо ли перезимовали, хорош ли урожай обещают? Фронтовые друзья, однополчане! Давно надо было Артему уйти, уехать, на черта сдался ему теперь тот задержавшийся

милиционер... Ладно, посмотрим, чем вся эта комедия кончится. Впрочем, какая комедия, если Авдеич в больнице, без сознания! Нет, уходить не стоит, нельзя, занавес рано опускать.

— Против воли отца, говоришь? — Артем снова посмотрел в чистые голубые глаза паренька. — Трудно, тяжело, я думаю... Но я все-таки пошел бы против его воли, если б вот так, как у вас... Если есть на плечах голова, она обязана соображать и отличать плохое от хорошего. Отцы тоже ошибаются, Гриня. Даже хорошие отцы не застрахованы от промашек... А у вас не ошибка, не промашка...

— Легко вам говорить!

Артем подошел к нему, обнял за некрепкие еще плечи, склонился к самому лицу:

— Правда? Легко? Тогда прикинь, парнишка, легко ли мне будет возвратиться в родную бригаду, где все знают и Оню, и то, что я поехал жениться на ней? И родителям отписать, что, мол, свадьбы не будет, что, мол, не беспокойтесь, я ошибся в невесте... Легко? То-то.

На крыльцо вышли Капочка и Филаретовна, первая нахваливала новые обои в комнатах Филаретовны, без конца восклицая:

— Чудо просто, чудо, а не обои! — Увидев, что Артем с Гринькой сидят чуть ли не в обнимку, сейчас же сменила тональность голоса, окрасив ее двусмысленностью и насмешкой: — Чу-у-до просто, ей-ей, чудо!

Филаретовна баба не глупая, сразу поняла ход ее мыслей, игру ее голоса. Гневно спрямила полудужья своих бровей:

— Гриня! Эт-т-то еще что?! — Похоже, вспомнила, что никто никогда не слышал, чтобы она повысила голос, раскачалась в своих берегах, плеснула выше яра. Выправила брови, смягчила резкий контрасть до низкого воркующего полусшепота: — Иди умойся, горедрачун. Да рубашку смени. Переобуйся. Иди! — Гринька приподнялся было, но Артем, верно имея свою мысль,

нажал рукой на его плечо: сиди. И Гринька сел, растерянно метнул взор на мать, на Артема, на ядовито ухмылявшуюся Капочку: что вам нужно от меня, в конце концов?! А мать настаивает чуть жестче прежнего: — Подь-ка сюда. Не отворачивайся, подь ко мне...

Артем легонько подтолкнул: ладно, иди!

Филаретовна приобняла сына, зашептала что-то на ухо, Гринька сердито отмахивался головой, не соглашался. Брови ее опять начали прямиться в гневе, видимо, это напугало Гриньку. А может, он просто привык подчиняться, не умел постоять на своем.

Гринька умылся, переделся, переобулся, вытащил из сенцев велосипед, за воротами сел на него и укатил вдоль улицы. Все это нехотя, с оглядкой на Артема, не сменившего позы на заднем сиденье мотоцикла.

— Чегой-то участковый задерживается, — посокрушалась у Филаретовны Капочка, истомленная неопределенностью и тишиной.

— Типун тебе на язык! — раздраженно отозвалась Филаретовна, глядя вслед уезжавшему сыну.

Удивлялась: как не пришло самой в голову сразу же послать Гриньку к председателю сельпо Вавилкину?! Да и к другим. У Ларионыча ее, у семьи их столько друзей-товарищей, столько на Онину свадьбу собиралось, что и беспокоиться-то нечего — выручат. Сама не догадалась, а вот Оня... Ей-же-ей, превзошла она мать характером. Вышла из своей комнатки, «светелки», как, по-книжному, называл Ларионыч, кивнула на Гриньку во дворе: «Нюни распустил, хуже бабы... Еще в морские волки целится... Вы б, маманя, его... пусть к Илье Егорычу домчит. Да сначала умоется, сопли утрет...»

Проводила Филаретовна Гриньку и с сочувствием взглянула на Артема: «Чудак! Таковую девушку променял на принцип этого баламута Авдеича... Сколько вас? Ну двое... Тоже мне!» — Ушла в избу, поджав губы. Капочка осталась на распутье. То ли за ней идти, то ли навстречу хозяину с председателем сельсовета броситься. Так и не

решившись ни на что, пожаловалась Артему.

— Вот она, наша милиция! И след заглох преподобного участкового...

Чумаков и Крайнов возвратились к крыльцу будто запорошенные крупными снежинками — на плечах, голове, груди лежали нетающие лепестки яблоневого и вишневого цвета.

— Участковый все еще, смотрите-ка, не явился! — доложила им Капочка.

Чумаков обрезал ее косым взглядом, Крайнов кивнул, думая о чем-то другом. Да и разговор у бывших однополчан, как показалось Артему, был далек-далек от милиционера, от всей приключившейся ныне истории. Они говорили о лютой зиме, о том, что некоторые деревья, вероятно, вымерзли, что колхозу и озимые пришлось пересевать...

— Томишься, герой? — заметил вдруг истомленного Артема Крайнов и улыбнулся: — Как говорится, терпи, казак, атаманом будешь!

Артема захлестнуло:

— Пошли вы все!.. Сговаривайтесь, а я — к Авдеичу. Может, он уж... считай, ухлопали человека, а всем — до лампочки!

— Не кипятись, сейчас позвоним, справимся.

— Справимся! — передразнил Крайнова Артем, ткнул пальцем в Чумакова: — Справляться вот с такими нужно, Авдеича спасти нужно, в район, в область везти!

Артем хлопнул калиткой.

— Кипяток! — качнул головой Крайнов, поднимаясь по ступенькам.

— Кислота паяльная, — поддакнул Чумаков, присаживаясь к столу напротив Крайнова.

— Очень невоспитанный юноша, — мелко покивала прической и Капочка, взъярив вдруг Чумакова.

— Не путлялась бы ты, Капитолина, под ногами!

— Ты не очень-то, Ларионыч, не очень!

— Ступай отсюда, говорю! — угрожающе

приподнялся он.

— Не очень-то! — храбрилась Капочка, но семенила к калитке. — Привык на своих цыкать да рывкать. А я честная труженица.

Чумаков запустил в нее соленым огурцом. Взвизгнув, она успела укрыться за калиткой, огурец смачно шлепнулся о доски. Остывая, Чумаков повернулся к однополчанину — Крайнов разговаривал по телефону с больницей. Положив трубку, помолчал.

— Авдеич пришел в сознание, но — плох... Артем уже там. Выхватил у дежурной трубку, выразился. — Крайнов усмехнулся, как бы вновь прислушиваясь к тому, как выразился по телефону парень. — Знаешь, очень выразительно выразился.

— Испужал?

— Не смейся. Наделал ты дел, Ларионыч. Наделал. — Снова снял трубку и попросил соединить с райцентром: — Алло, девушка, мне районного рыбинспектора Прохоренко... Да. Или дома, или в инспекции. Пожалуйста... — Ждал ответа, смотря на Чумакова.

— Напрасно ты, Иваныч, затеваешь... За меня многие вступятся. Мно-о-огие, повторяю. Даже твое начальство. Когда приезжали представители облисполкома, кто им уху организовывал?

— Я?

— Хватил! Я! По просьбе Вавилкина. А Вавилкина кто просил? Ты! И вместе с гостями осетринку трескал, уху хлебал... Чего ж тогда молчал-то? Начальнику хотелось угодить? И в дорогу свежатишки завернули: кушайте на здоровье дома, с женами и детками! Что ж тогда-то молчал, однополчанин? А? Вот и положи разговорную трубку, не вызывай огонь на себя.

— Здесь тоже фронт, Ларионыч, еще какой фронт, — жестко ответил Крайнов. — Только здесь мы потрусливее стали. Надо бы в атаку, в полный рост, а мы лежим, носом землю роем — авось не заденет, авось кто-то другой поднимется в атаку...

Он помнил приезд той комиссии облисполкома. От нее зависело — получит или не получит сельсовет дополнительные средства на благоустройство поселка. Очень хотелось получить. Очень! Вавилкин сказал, что уха для гостей можно организовать, что в сельповском складе есть осетрина, изъятая у браконьеров... Поверил Крайнов тому, что уха будет законная? Сделал вид, что поверил. Члены комиссии тоже сделали вид, что ни о чем не догадываются. Так всем было удобнее.

Или помогло угощение, или и без него все решилось бы положительно, неизвестно теперь, зато к осени вдоль центральной улицы легли асфальтовые дорожки. И получается, если помогла уха, то спасибо за асфальт нужно говорить не сельсовету и его председателю, а браконьеру Чумакову. Вот какая пакостная арифметика получается. И тут действительно лучше, быть может, положить трубку и кончить все миром... Раз уступить совести, два, три — а дальше что? Как дальше жить?! Рыбы, зверя, воды, леса на наш век хватит, а там — хоть потоп? Так? Земля на могиле задернеет, а худой славы не покроет. Плюнут на нее потомки — и правы будут. Выступал недавно с лекцией районный рыбинспектор, очень метко сказал: «Разрушение природы начинается с разрушения личности». Очень хорошо сказал!

А телефонистка где-то там щелкает, переключается, похоже, никак не найдет инспектора.

А Чумаков продолжает травить душу, сыпать соль на самое больное:

— Промашка, конечно, у меня: тебя не подкармливал. А надо бы. Предсовета все-таки.

— Недооценил!

— Не то! Переоценил. Дружбу нашу фронтовую переоценил.

— Не трогай святое... Да-да, спасибо, девушка, я подожду. — Телефон Прохоренко был занят. — Святое не трогай, Ларионыч.

Тот вскочил, задохнулся криком:

— Да у тебя же шкура пузырями пошла, когда я тащил тебя, раненого, из танка!

Крайнов невольно опустил трубку, обожженная кожа на лице обрела вдруг неживой, синюшный цвет.

— Это недозволенный прием, Ларионыч...

Чумаков грохнул кулаком по столу:

— А у тебя — дозволенный?!

«Не хватало, чтобы еще они подрались. — Оня смотрела на них через тюль у окна, зябко жала плечами. — За что люди так друг на дружку? Из-за чего? Почему нельзя в мире жить, не мешать один другому? Неужели я потеряю Артема? Глупо, до невозможного глупо...»

Заметила, как у Крайнова вернулась кровь к лицу, как он нервно перекинул трубку в другую руку. Заговорил так, словно диктант вел, слова четкие, каждая фраза отделена паузой:

— У меня, Ларионыч? Да! Да, у меня — дозволенный. Ты тащил меня из горящего танка для того, чтобы я, чтобы мы... не мешали тебе грабить природу! Калечить тех, кто ее охраняет! Для того ты спасал меня! Ради этого!.. А насчет комиссии из области... Что ж, я готов нести ответственность за то угощение. Ошибки, на которых нельзя учиться, — плохие ошибки. — Притискивает трубку к уху: — Алло! Товарищ Прохоренко?

— Ух! — люто размахнулся табуреткой Чумаков.

— Папа! — в ужасе ринулась к двери Оня.

Зря ринулась: на лице Крайнова ни одна жилка не дрогнула, лишь глаза слегка сузились и пристально, немигающе смотрели на застывшего в замахе Чумакова. Оба — ноль внимания на Оню.

Оня отступила в избу, а Крайнов четко сказал в трубку.

— Здравствуйте. Это Крайнов, председатель Прибрежного сельсовета... ЧП у нас. Браконьеры пойманы... Да... Общественник серьезно ранен... Хорошо... Ждем. — Он положил трубку.

— Зря ты все это! — Чумаков опустил на пол табуретку, сел на нее, навалился на стол локтями и грудью. Складки его лица стали серыми, в набрякших веках потонули глаза. — Зря, Иваныч. Сам знаешь, не дадут меня в обиду... Я человек заслуженный... Вгорячах каждый может оплошать. У всех, говорю, спотычка бывает...

Крайнов сел за противоположный край стола, уперся кулаками в колени, плечами подался к Чумакову.

— Затянулась твоя спотычка, в хромоту перешла. Спотычка у тебя, Матвей Ларионыч, началась, как мне кажется, с послевоенного неурожайного года. Помнишь? Слова свои помнишь? «Ша, больше не буду на колхоз маштачить! Не хочу каждую копейку на ребро ставить, на брюхе экономить. Не за это кровь проливал». Помнишь свои слова? И пошел-поехал по легким хлебам, да чтоб в холодке, да чтоб не на холостом послевоенном трудодне...

— Не понимаю, Иваныч, зачем ты злобишься ни с чего, забытое ворошишь?

— Понималку свою ты на самовар изрубил, оттого не понимаешь. Будто ты один прикрыл грудью всю страну! Тебе ли, мол, под ноги смотреть, на чужой след наступать. Сам с усами! Сам свою копейку наживаю!

— Не так?

— Так, наживал. Именно наживал, а не зарабатывал. И ценил ее высоко, каждую гвоздем прибивал к нажитому. Так?

Неожиданно лицо Чумакова просветлело, складки на нем разгладились.

— Завидуешь, Крайнов! — с радостным придыхом привстал на локтях. — Всегда, похоже, завидовал. А? — Повел рукой: — У меня — вона! А у тебя? Дыра в кармане да блоха на аркане? Одни пашут, а другие под дудочку пляшут. Меньше плясать нужно, Иваныч!

Крайнов положил лоб на ладонь, прикрыл глаза, пережидая, пока успокоится сердце. Чумаков обеспокоенно вскочил:

— Тебе плохо, Иваныч? Извини! — Голос его был искренним. — Извини, однополчанин. Завелись мы из ерунды, из ничтожности никчемной... Сам ты виноват, Иваныч. Всегда ж знаю тебя. На фронте боевым ты был у нас в экипаже, уважали тебя. И шофером в колхозе хорошим был. А вот зачем ты в председатели сельсовета согласился пойти — не пойму. Не по тебе эта должность, Иваныч. Ей-богу! Сторишь ведь!.. Тебе, может, валидолу или чай, Иваныч? Филаретовна! — крикнул зычно, повелительно, с настроением: — Жена! Неси-ка нам свежего чайку!

— Ничего не надо, — сказал Крайнов появившейся Филаретовне. — Иди, Анна, к Оне иди... Тебя я, Матвей Ларионыч, извиняю.

— Вот и ладно, вот и хорошо!

— Себя не могу извинить. Виноват я перед тобой, право...

— Брось, Иваныч, об чем речь!

— Виноват в том, что ты стал таким. Был же, был ты настоящим человеком, был. Как мы тебя проморгали, когда? С чего у тебя началось, скажи? Скажи, Ларионыч!

Чумаков оторопел: вот те на, вот так поворотец! И не мог, не хотел он всерьез брать заботу председателя: кому какое дело? Поймал на рыбе — наказывай, зашиб Авдеича — привлекай. А в душу неча лезть, чужая душа — потемки, в чужих потемках и шею недолго сломать. Чего захотел: как, когда?! А он, Чумаков, и сам не знает! Конечно, если кинуть память назад, если захотеть, можно что-то вспомнить, что-то высветить. А конкретно? Конкретно и всевышний не скажет, мол, вот с этого началось, мол, помнишь тот день, когда продал ты заезжему человеку первого пойманного осетра? Помнишь, как вместе с Филаретовной радовались: очень уж кстати деньги прились, можно новорожденной Онечке пуховое атласное одеяльце купить. Сам бог не станет утверждать, что именно тогда, с того случая. А может, началом стал сельповский уголь, ночами

натасканный домой? Или тот «левый» лес, что куплен был по дешевке для строительства собственного, вот этого дома? А может, может, клюнул и взялся на крючок, проглотил наживу, еще раньше, раньше, перед демобилизацией, например? Проглотил — понравилось. Тогда один мудрый солдатик шепнул: «Ты парень, не зарься на трофейное барахло, с ним одна морока. Запасайся швейными иглами. Машинные иглы дома в цене, озолотишься...» Килограммов шесть привез Чумаков иголок. Быстро расторговала их на базаре молодая супруга. Иглы были в цене, правду сказал солдатик из хоззвода!..

Крайнов лишь посмеялся: «Ну и пройдошлив ты, Матвей!» В ту пору не осудил, верно, не увидел зла в его находчивости, а если позавидовал, то по-хорошему без тени на сердце, без камня за пазухой. А теперь вот!.. Должность председательская вконец испортила, что ли? Выпендривается, гнет из себя черт-те кого...

— Придирчивый ты, Иваныч, стал, спасу нет. Или не знаешь, что это лишь бульдозер-дурак от себя гребет? Да курица. А я, Иваныч, человек, у меня семья. Почему ты меня бережливостью попрекаешь? Почему ты такие пустые речи ведешь?

— Не бережливостью — жадностью. Неправедностью средств.

— Хе-хе, боек ты разводить туры на колесах, ничего не скажешь! Айда, ковыряй! Копай! Яму однополчанину копай!

— Не яму... В душе твоей копаюсь, понять ее хочу — хоть с опозданием. Мы ведь с тобой, право, в последние годы... Скажи, когда вот так сидели? К разным берегам гребли, не оглядывались.

— Сейчас бы, поди, не повез мне тот «левый» лес?

— Не повез бы.

— В милицию завернул бы?

— Завернул бы.

Глаза Чумакова брызнули, сверкнули окалиной, рот сломала злая ирония:

— Если хочешь потерять друга, дай ему власть. Не зря, поди, бают, а, Иваныч? А во мне и копатья нечего, наружу я весь.

— Ой ли!

— Да, Крайнов, да, однополчанин! Весь я наружу А ты — с камнем за пазухой, ты с завистью. Точит она тебя, ест, как ржа.

— Ну и ну! — покачал головой Крайнов.

— Точно! А как же? И Филаретовну, Анну, я у тебя из-под носу. И живу не в пример тебе, и...

— Переста-а-ань, постыдись! Жену, дочь постесняйся.

Громко, как выстрел, щелкнула щеколда — отмахнулась калитка.

В нее решительным шагом вошел милиционер. Был он местным, долго ходил в сержантах, а вот недавно ему присвоили младшего лейтенанта. Он то и дело поправляя новенькую фуражку с кокардой, с затаенной радостью косил глазом на звездочку, легонько поводя плечом. Несмотря на то что сейчас долго разбирался с подравшимися хлопцами, настроение у него было приподнятое, почти праздничное.

— Кто здесь нарушает общественный порядок?! — Поглядел кочетом. — Кому захотелось пятнадцать суточек?! А?!

— Пошли, — сухо сказал Крайнов. — В сельсовет. И ты, Чумаков! Все.

— Чего я там не видел! — зло ощерился Чумаков. — Или опять свяжете?

— Не дури, — нахмурился Крайнов.

Участковый слинял, растерянно хлопал круглыми, еще мальчишескими глазами:

— Иван Иваныч, н-непонятно. — Оборотился к Чумакову: — Вас? Н-но за что? Вы уж извините меня...

Тот дружески обнял его, сказал вполголоса, веселя прищуркой глаз:

— Дураками свет засеян, и всходы дружные... Авдеича подранил. Случайно. Понимаешь, слу-чай-но. — Пошептал еще что-то. И опять: — Понимаешь?

Участковый, разумеется, понял и потому, сдвинув на глаза фуражку, почесал затылок:

— Хех ты, тая-матая, а!

— Ты-то, однополчанин, ты-то, неужто враг я тебе окончательный? — Чумаков волновался, Чумаков нервничал. Еще бы — через весь поселок, с милиционером! Не чай пить — ответ держать. Поселок уж наслышан, одна Капочка чего стоит со своим языком. — Иваныч, а? Не для себя ж, для детей, для них вот! — Он даже пытается обнять вошедшего Артема, но тот резко отстраняется. — Мы, Иваныч, хлебнули нужды по ноздри, так пусть хоть дети...

— Вы уж извините, Матвей Ларионыч, но... при исполнении я... — Участковый прямо-таки в отчаянном положении, ему хочется поскорее со двора уйти, он уже видел на крыльце Филаретовну с белым лицом, и хотя он знал ее, все же опасался, что она вдруг поднимет вой, начнет цепляться за мужа, за него, участкового. Этих баб сам черт не разберет-поймет, то просят прийти, унять разбушевавшегося мужа, а придет — начинают защищать, мол, я только попутать милиционером, а так он — хорош-расхорош. Да, может, и понятна их логика шиворот-навыворот, если вспомнить, что, посади ее мужа на пятнадцать суток или на год-два в тюрьму, ей самой потом и за скотиной ухаживать, и топку заготовливать, и покосившийся сарай ремонтировать, и за детишками следить, которые окончательно отбиваются от рук. Нет, они верно говорят: хоть и кривой плетешок, да все затишок. Из двух зол выбирают меньшее, как им кажется.

— Значит, о них, о детях? — недобро переспросил Крайнов. — Жутко, если они на тебя станут похожими.

— На него?! — ткнул пальцем в Чумакова взвившийся злостью Артем. Перепрыгнул через ступени крыльца, крикнул в распахнутую дверь: — Оня! Выдь сюда!.. Оня! — Он еще верил в нее, он еще не терял крохотули надежды. Оня не вышла, такая она была дуреха, взяла и не вышла, несказанно обрадовав отца. Он

торжествующе сверкнул сталью зубов:

— Выкусил, покоритель? Съел? Айда, иди, иди отседова, дурошлеп! — А Крайнову кивнул на дверь дома: — Видал? Мой характер! В меня Онька!

— Может, приступим к исполнению? — нервничал участковый, видя, что Филаретовна спускалась к ним по ступеням.

Крайнов не понимал его беспокойства. Или не хотел понимать. Давил взглядом Чумакова:

— Жутко, если в тебя, в нынешнего. И Оня, и Гриша... Им ведь после нас, в их руки и село, и реку, и надежды наши... Из грязных рук — в чистые? Не-е-ет, Чумаков, нет. Из чистых, только из чистых! В чистые. И никак иначе. Никак!

Участковый распахнул калитку:

— Прррошу! — Никто не двинулся, и он торопливо вернулся к Филаретовне: — Все будет хорошо, ручаюсь. — Строго, снизу вверх, глянул на Артема: — Поправьте шляпу, товарищ!

Артем снял шляпу, непонимающе посмотрел на нее и, словно футбольный мяч, пинком послал ее за сарай. Впервые в жизни напялил ее на себя, словно в насмешку. Зашагал вслед за милиционером и Чумаковым. В калитке его пропустил Крайнов, невесело приободрил:

— Держись, парень, как говорят, бог не без милости, казак — не без счастья.

И тут его окликнула Филаретовна. Она медленно приближалась к нему, не сводя скорбных, немигающих глаз с его лица. Он выжидающе угнул голову.

— Иван Иваныч... Ваня... ради всего... Не будь жесток... Не будь. Ведь на детей позор... Не мсти, Ваня...

Он упрямо не поднимал головы, хмурился пегими бровями. Наконец вскинул на нее глаза: лицо у Филаретовны незнакомо бледное, с синевой, как снятое молоко. Спросил вдруг осевшим, сиплым голосом:

— А... справедливым ты мне... разрешаешь быть, Анна? Разрешаешь быть справедливым?!

Повернулся, закрыл за собой калитку. Сколько лет прожили рядом, а так и не поняла, не узнала его натуры Анна. Видимо, и не пробовала понять, узнать. Хорошо ей жилось за Чумаковым, хорошо. Покойно и сытно. И ничто не располагало к размышлениям.

6

В конторе колхоза все было в порядке. Катькиного отсутствия не ощущалось, она это поняла, а потому — круть назад, к Чумаковым.

Таится лицо под личиной,
Но глаз пистолета свинцов.
Мужчины, мужчины, мужчины
К барьеру вели подлецов...

Влетела во двор, осеклась, увидев сидящую на ступеньках Оню. Обычно брови у Она высокие, а тут — выпрямила в линию, круглый подбородок подперла крутым маленьким кулачком.

Присела Катька рядом, прижалась горячим плечиком к прохладному ее плечу.

— Ну, ты чо, Онь! Ведь жизнь без приключений — что свадьба без песен. У кого-то я вычитала, что все комедии кончаются свадьбами.

Оня не шевельнулась, все так же смотрела в землю. Лишь губы разлепила:

— Разве здесь комедия?

— Да все образуется, Онь! А тебя он любит. — Катька завистливо вздохнула: — Знаешь, настоящий он...

— Перестань.

— Извини, я не хотела... А вот кольца он зря утопил... Но и ты не права была.

— Помолчи, Катерина...

— Охо-хо-хо! — теперь уже демонстративно вздохнула Катька. — Трудно тебе в жизни будет, Антонина. Все в себе таишь. Это всегда тяжело. Только... бог даст, образуется. Я уверена.

— Не получится у бога: он за одну руку тянет, а

черт — за обе ноги.

К столу на веранде присела Филаретовна. Молчали, как на тягостных поминках, когда о покойном и сказать нечего. Река живет родниками, а человек — думами. Здесь думы у всех разные, а по сути своей об одном.

Филаретовна вглядывалась в даль улицы: куда это Гриня запропастился? Дескать, за это время можно весь поселок вдоль-поперек сто раз проехать... Не должны б, не должны дать в обиду Чумаковых! Не дадут!.. А все ж, а все ж... Кто его знает! Чевой-то Ванечка Крайнов шибко распалился. Знамо дело, не из-за Авдеича! Авдеич очухается. У Ванечки прошлое заворошилось, разум застит. Первым начал прибояриваться к ней, да уж больно стеснялся, вором себя чувствовал. Мол, Сергею б сейчас рядом с тобой, а не мне, он у тебя в сердце... Мол, я хоть и обгорелый, покалеченный, да вот, живой, а Серега в земле убитый лежит... Пока так-то переживал-томился, а Матвеюшка и пал на нее, как беркут на утицу, выхапнул из-под Ванечкиного носа... Она и не противилась. Какая разница, не любила ведь ни того ни другого, но Матвей все ж повиднее был, да и маманя сказала: «За Матвеем не пропадешь, дочка, парень хваткий, верткий...» Неужто Иван обиду застарелую вывернет? Или впрямь такой честный да хороший? Оно, конечно, сколько помнится, Крайнов Ванечка только за себя, за свое не умел постоять, а за других — откуда и смелость и голос прорезались!.. Экая, скажи, напасть не ко времени. Что б тому шалопуту Артему прям к дому, к воротам подъехать, нет, понесла его нечистая сила «вдоль по берегу», стакнула с Авдеичем, с этим придурошным старцем, господи прости... Утром напоследок радовалась, глядя на Оню: пока еще своя, пока еще смотрины! Теперь вот невесть до коих годов рядом с матерью будет, а радости даже малой нет, сплошная печаль да горечь. Вот уж напасть так напасть!.. И где тот Гринька запропастился?..

Оня пробовала думать о том, что происходит сейчас в сельсовете, как ведет себя там Артем. Поди, туда уж и

рыбинспектор Прохоренко примчал на допотопном зеленом драндулете-«газике», известном всему району. Про него говорили, что он во всех щелоках жизни варился, не боялся ни черта ни бога, боялся лишь имя чужой женщины назвать во сне. Странно, почему мужья так своих жен боятся? Задала такой вопрос Вавилкину, у которого все и всегда можно запросто спросить, он засмеялся: «Волк, Онечка, не боится собаки, но не любит, когда она гавкает!»

Господи, что за ерунда лезет в голову! А что должно лезть? Что?! Голова трещит от всего... Люди напрасно надеются на безнаказанность, когда делают другим зло. Артем, вероятно, тоже еще на что-то надеется. Если ты сделал кому-то зло, то, считает она, Оня, пусть тебя это не тешит, что-то ты все равно потерял, какой-то частички собственного «я» ты безвозвратно лишился, душой ты стал беднее. Да, так? Значит, Артему нужно было закрыть глаза, пройти мимо? Не сотворять зла? Да что ж это ты, Онечка! Он не прошел, он мимо зла не прошел!..

Голова трещит! Все трещит, все разваливается. Что ты наделал в паре со своим Авдеичем, Артем, что натворил, сумасшедший!..

Катька жалась к Оне, сочувственно вздыхала, очень у нее это искренне получалось. Она думала: хорошо, что Оне не довелось видеть, как шли к сельсовету ее отец и жених, как глазели на них односельчане, как отпускали шуточки: «Эх-ха, дочкин жених Ларионыча забагрил», — как увязались следом мальчишки со своим дурацким припевом: «Икорка черная, а рыбка красная...» А над сельсоветом — флаг, новенький, сочно-алый, праздничный, хлопал на ветру, словно аплодировал идущим. А возле крыльца Совета затормозил расхлябанный «газик»-вездеход рыбинспекции, и из него вылез грузноватый Прохоренко в черной морской форме...

Верная, надежная подруга Катька, Катьке хочется согреть замороженных своей бедой Оню и ее мать,

Катька пытается рассказать смешное:

— Была прошлый раз у старшей сестры в Уральске, знаете ж ее... Пацаны у нее, одному восемь, другому — четыре. Каждый день анекдоты с ними! Старший не выучил урок и взмолился: «Родненькая, учительница, не ставь мне двойку, меня ведь дома убью-у-у-ут!» Вот ведь чертенок, дома его никто пальцем не трогал. А младший — невыносимый рёва. Выл, выл, замолчал. Сестра говорит: «Фу, слава богу, устал!» А он: «И нет! Сейчас отдохну и опять буду...» И правда, опять заревел. Сестра ему — внезапно: «Хочешь грушу?» Он враз умолкает: «Хочу!» — «Нет груши». Он сызна выть. Она: «Хочешь апельсин?» — «Хочу!» — «Нет апельсина...» Так и чудят, спасу нет!

Спасибо, Катенька, спасибо, родная! Она с матерью понимают тебя, только смешное не в силах их хотя бы чуть-чуть взвеселить. Глаза Филаретовны уж заметили едущего на велосипеде Гриньку, глаза торопят его, подгоняют, а он еле-еле крутит педали. Видно, тяжелы у Гриньки ноги, как тяжел весь этот воскресный благостно-солнечный день. С чем возвращается, кого видел? Филаретовна встретила коротким:

— Ну?

Гринька завел велосипед под навес, приткнул к мотоциклу. На повторное маманино «ну!» отмахнулся:

— Идите вы все...

— Это еще что?! — построжала Филаретовна и стала спускаться по ступеням.

Катька тоже возмутилась:

— Ты эт чо?!

— Видел кого? Что сказали? Ну? — Подошла к сыну, строго глянула в лицо, по запыленному лицу — вилюжины от стекавшего пота. — Что Митрясов-то? А Илья Егорыч что? Был у них?

— У Митрясовых замок... А Илья Егорыч в бане моется. Обещал прийти.

— Ну-ну, — чуток успокоилась Филаретовна. — Отца-то видел?

— В сельсовете все... И рыбинспектор... А Авдеич опять без сознания!

— Кричать-то не след, сынок. — Филаретовна усиленно крепилась, делала вид, что все это пустяшные тревоги, но лицо ее твердело, а глаза сделались словно бы без зрачков — мутно-голубые, мутно-белые.

Оня, так и не поднявшаяся со ступенек, косо, исподлобья глянула на брата:

— Иди умойся, слезомой...

Гринька в отчаянии затряс над головой кулаками:

— Да идите, идите вы!.. В школу мне! Как я в школу теперь?!

— Ты чо? — притворно удивилась Катька. — Ножками, ножками...

— Тю-тю моя школа! Посадят нас с папанькой. — Он бросился матери на грудь, заплакал.

— Не мели, дурной, — погладила его по голове Филаретовна.

Он со злостью откачнулся от нее:

— Не мели, да? Не мели? Это ты, маманя, не мели!

У Филаретовны высокие брови еще выше полезли от изумления: да Гринька ли был перед ней? Ее ли тихоня? И увидела злой оскал его зубов с пузырьками пены, точь-в-точь как у отца, когда тот взбесится.

— Что, маманя, уставилась? Не нравится?!

— Да ты чо, Гринь? — всполошилась Катька.

— Пошли вы!..

И тут важеватая, покойная Филаретовна треснула сына по щеке. И тотчас опомнилась, обхватила, обняла Гринькину голову, прижала к груди:

— Господи... Да что ж это...

— Ты чо на мать-то, что матери тыкаешь? — Катька силилась сбить конфликт, подставляла себя под Гринькины выкрики, под Филаретовнину растерянность и вспышку.

Гринька вырвался от матери, мимо Они поднялся на веранду и, присев к столу, головой упал на согнутую в локте руку.

Филаретовна остановилась над ним, опустила руку на русую нечесаную голову. Не находила, что сказать, и угнетенно молчала, почувствовав вдруг, как навалились на нее годы, как сейчас вот, сиюминутно, старится она, как теряет твердость под ногами, теряет всегдашнее хладнокровие, всегдашнюю уверенность. Крутехонек был у нее муж, но Филаретовна могла им управлять, умела и впрячь и выпрячь. Да вот проглядела, ой, как нехорошо проглядела. Ох, дурак старый! И мальчишку впутал, и Онину свадьбу расколотил, и перед поселком позор на всю жизнь принял. Давно собиралась сесть с ним да рассудить, как жизнь далее ладить, негоже до конца непенсионных годов в истопниках ходить, насмешки выслушивать. Зимой истопником был в сельпо, а летом прохлаждался — кто куда пошлет. Это Ларионыча вполне устраивало (времени свободного много!), не обижался на подначки Вавилкина: «Оказывается, прохлаждаться можно и на тепленьком месте!» Основной заработок шел с Урала, это все знали, тот же Крайнов Ванечка знал... Знал, а почему не поговорил покруче, почему сквозь пальцы смотрел, хотя и с презрением, а все ж сквозь пальцы, почему? Момента ждал? А еще фронтовой друг, однополчанин! И здесь совесть не пускала порог перешагнуть? Снимем шапки и помолчим о твоей совести, Ванечка. Совесть упреждает беду, а не в хвосте плетется. Стеснительная собачка хвостом виляет, да исподтишка кусает — так, что ли?

— Господи, что теперь других-то винить? — вслух оборвала свои мысли Филаретовна, не о вине других следовало думать, а о том, как из своей вины выпутаться, скорей бы Вавилкин объявился, уж он-то из любой истории умеет выкрутиться, со всеми богами и боженятами в корешах, как сам говорит, ему, дескать, все одно, какая масть у бога, абы его, Вавилкина, руки держался. К тому же у Ильи Егорыча в Уральске старший брат в больших начальниках ходит.

И Филаретовна, утешая и обманывая себя, утешая и

обманывая, в который раз заключила:

— Не убивайся, сынок, все обойдется...

— Конечно! — воодушевленно поддержала ее Катька. — Ты чо, Гриньк!

— Обойдется? — Гринька вскинул всклоченную голову, раздавил кулаками слезы на щеках, шмыгнув носом. — Обойдется?! Авдеичу череп раскроили — и обойдется?! А если и... Как я в школу теперь? Как?

Ну, это не крайняя печаль, подумала Филаретовна. И еще подумала, что Гринька не в нее характером, и конечно же не в Ларионыча. Дед у Гриньки был такой вот слезливый: как выпьет, так плачет — самому себя жалко.

Она тронула его за плечо:

— Пошли-ка, умойся... Скоро семнадцать, а будто школьник. Айда.

Гринька повиновался. Они ушли. Катька вновь под села к Оне.

— А знаешь, Онь, я его понимаю. Он же влюбленный — страх как. В одноклассницу. Моя сестренка на секретничала.

— Ну и нюни нечего распускать. — Оня подвинулась на ступеньке, пропуская мать.

— Схожу к Петровым, — сказала Филаретовна, развязывая тесемки фартука и бросая его на перила веранды. — Может, присоветуют что.

— Конечно, присоветуют, конечно, помогут! — с готовностью поддержала Катька.

Оня проводила мать сердитым взглядом, сердито посмотрела на Катьку:

— Кому, Катерина? Кому помогут? Нам? Против Артема? Против Авдеича, может, уже мертвого? Ты соображаешь, Катерина? Чтоб и перед ними, и перед людьми оправдаться, да, Катерина? Они — плохие, а мы — хорошие, да?

— Ты чо так, Онь? — растерялась Катька. — Н-не знаю я.

Вовсю пригревало солнышко, в песке у сарая

греблись, купались куры, а Оня зябко повела плечами:

— Я тоже не знаю, Катерина... Все, и я сама, считали: у Антонины, мол, голова светлая, Оня — разумница, рассудительная. А что выходит? Ни в людях я не разбираюсь, ни в поступках... Вот, помнишь, вскоре после десятого класса подбивался ко мне инженер, у родственников гостил здесь? Ромбиком институтским форсил, в галстук при сорока градусах жары... Все хвалили, а мне он показался каким-то вертлявым, скользким... Сейчас уже главным инженером фабрики работает...

— Так, может, потому и главный, что скользкий! Они, скользкие, знаешь...

— Да нет, при нем, говорят, фабрика стала план выполнять. Или вот твой... Я даже завидовала тебе в душе: какой красивый да внимательный муж ей попался. А на пробу каким подонком вывернулся!

— Не говори! Я обалдела просто, о Петяше своем забыла, как увидела его, паразита.

— Неужели все люди двумя жизнями живут? Одна для показа, а другая — для себя? — Оня ходила по веранде, обцепив плечи руками.

— Но ты же, ты не такая?! — Катька от крыльца сторожко следила за ней.

— А какая? Какой я кажусь теперь Артему? Что молчишь, Катерина?

— А чо говорить, Онь? Не судьба, значит.

— Не судьба! А если... если все-таки... ну встретит, спросит? Что отвечу? Словами папани? Он у нас, сама знаешь, златоуст. Люди, слышь, не умеют жить, оттого им зависть кишки выворачивает.

— А чо! — воодушевилась Катька. — Может, и так! А мучаешься потому, что любишь Артема. Вот поутрясется все, поуляжемся — и прямо в загс!

— Господи, как у тебя все просто получается...

На это упрекающее «просто» Катька долго не отвечала, черные глаза как бы опрокинулись в себя, чего-то в себе искали. Просто? Нет, не просто, Онечка.

Просто лишь то, что она, Катька, любит тебя. И Артем ей люб. И хочется ей, Катьке, чтоб сошлись ваши две жизни, чтоб хоть у тебя, задушевной подруги, семья сладилась. А все остальное — не просто, ой, не просто, подруженька милая! Завидовала Катька достатку, благополучной устроенности вашего дома за этими высокими тесовыми воротами, а жить так, такими недостатками не хотела бы. Неправедными они были, всегда это видела. Видела, а притворялась незрячей. Почему? Неужто из любви к Оне? Неужто из страха разгневать Матвея Ларионыча? Скорее, из удобного убеждения: плетью обуха не перешибешь, хочешь жить — умей вертеться. У Катьки отец умер от старых фронтовых ран, а после него семеро по лавкам остались! И все — девчонки! Старшей — пятнадцать, Катьке — десять, остальным... Горох, словом... А Матвей Ларионыч не обходил вниманием: то рыбки подкинет, то полмешка картошки, то угля по дешевке выпишет через сельпо... Неужто надо было отвернуться и от рыбы, и от картошки, и от угля, от всего, что выглядело искренним человеческим состраданием?

Может быть, и надо было? И у Они не адъютантом быть, а честной подругой... Ведь чувствовала, всегда чувствовала, что когда-то да оплошает, промахнется Матвей Ларионыч, хлопнет стальными челюстями капкан. Это только волк иногда перегрызает собственную попавшую в капкан ногу и уходит от людей, а человеку от людей не уйти.

Чувствовала! Много ли толку с того, что чувствовала! А ты, Онечка, говоришь, будто все просто у нее, Катерины, получается... Разве это просто?!

— Г-гаф! — Полкан неистово срывается с места, но намотанная на крюк цепь отбрасывает его почти навзничь, он с еще большей злобой рвется в сторону заднего двора, в сторону сада, рыча и лая, дыбя на загровке шерсть.

— Цыц! Цыц, тебе говорю! Своих не узнаешь?

Мокрым веником отмахивался от Полкана Илья

Егорыч Вавилкин. Он словно из сугробов вынырнул, весь облепленный белым отмершим цветом сада. Похоже, напропалую через вишенник пер. В руках пузатый большой портфель и банный веник. На шее сырое полотенце. Коломянковый пиджак распахнут, розовые жилы подтяжек поверх майки поддерживают брюки. На красном распаренном лице нос кажется скрюченной улиткой, присосавшейся к переносице.

— Привет, красавицы! — Рот улыбочивый, редкозубый, а глаза хитрющие и охальные. — Н-но, чего молчим? Не у всех молчание — золото, у кого оно и ломаного гроша не стоит!

— Здравсьте, с легким паром, Илья Егорыч, — вежливо говорит Катька.

Ему показалось, что она как-то странно посмотрела на него, и он испуганно, как по гармонным ладам, пробежался пальцами по пуговицам брюк: уж не распахнуты ли «ворота»? Все было в порядке. Облегченно гмыкнул:

— Спасибо, — уселся за стол, несказанно удивился, увидев початую бутылку и огурцы: — Ты скажи-ка, вот подфартило! — Цокнул горлышком по краю рюмки, налил, как он выражался, по «марусин рубчик», выпив, яростно крякнул: — А! Пошла душа в рай, хвостом завиляла! — Яростно зажевал выпитое огурцом. Обтерся концом полотенца.

— Говорят, в ваших столовых всегда фирменное блюдо — «демьянова уха»...

— Не скажи, Катеринка, не скажи. Уха — только в морской день, в вегетарианский... — Поцелился глазом на бутылку, повторить не решился. Нельзя сказать, что зеленый змий красной нитью прошел через всю его жизнь, но если наливали — мимо рта не нес. Сейчас и не наливали, и окружающая обстановка была, надо полагать, напряженная, трезвой головой лучше соображать.

Полчаса назад Гринька застал Вавилкина в тот неподходящий момент, когда он, благодотно побрякивая,

забрался на банный полк. Гринька сам не решился бы войти в раскаленную преисподнюю, но встретившийся в предбаннике уже напарившийся председатель колхоза сказал: «Иди-иди, дело не шутейное!» И Гринька вошел, обжегся огненным паром, на мгновение потерял зрение. Все-таки разглядел смуглого, будто выкопченная чехонь, Илью Егорыча, лежащего на полке.

— Какая нечистая сила принесла тебя в мое пекло?

Гринька сбивчивой рысью рассказал. Стал торопить, стал упрашивать. Вавилкин сбросил голенастые ноги с полка.

— Хреновское дело. — Сидел и задумчиво скреб пятерней голую, без единого волоска грудь. — Хреновское, говорю тебе. Так? Окуни-ка веник в ту кадушку да похлещи меня... Понимаешь, посевная — так? По полям на автолавке мотался день и ночь. Спина бани просит... Хлещи. Мы быстро. Айда, не жалея Илью Вавилкина, вхлестывай ему по первое число, чтобы план товарооборота не срывал, чтоб всегда сто один процент давал! Айда, шпарь, шпарь...

И Гринька вхлестывал, шпарил, не жалея ни себя, ни Илью Егорыча: чем злее выхлещет его, тем скорее он с полка удерет. И наконец Вавилкин взмолился:

— Хватит, Гриня! А то копыта откину. Дохлый я никому не нужен, из меня, костлявого, даже холодца не сварить... Окати-ка меня из той бадьи... Но-но, не бойсь! Ты знаешь, как железо калят? Из огня да в воду, из огня да в воду! Мне вот полста с хвостиком, а я вишь какой! Всею голова — баня...

Раскачнул Гринька полную бадью и вывернул на взголосившего от восторга Илью Егорыча. Прыгнул тот на пол и с рычанием начал мохнатым полотенцем растираться. Гриньку выпроводил:

— Кати далее, к Митрясову — обязательно... Так? А я малость отдышусь в предбаннике и — следом, собачьей трусцой...

И вот он здесь, у Чумаковых. Вытирался полотенцем, шумно отдувался:

— Уффф! Будто в президиум, место занять... По задам, напрямую, рысил...

«Напрямую? — машинально, не вдумываясь, переспросила мысленно Оня. — По задам если — крюк порядочный...» — Только потом поймет, что это «напрямую» — перестраховочка, чтоб меньше кто видел его на пути к Чумакову.

— Филаретовна где? — Вавилкин крутнул головой. — Гринька где? — Опять вопросительно крутнул. — Хреновское дело. Хреновское, говорю вам. А тут — товарооборот, а тут — ассортимент. Жизнь — как у графина: каждый за горло хватает. Бараны у колхозадохнут — в лавке керосину нет, сено не косится — продавец пьяный. Во всем кооперация виновата! А в Приозерском окно выломали, в продмаг залезли. Что, вы думаете, взяли? Десять бутылок водки! Главное в борьбе с ворами что? Не форма, а задержание. А участковый нажимает на воспитание... — Столкнулся с Катькиными осуждающими глазами, вспомнил, для чего сюда рысил. — Так, что мы предпримем? Сразу в сельсовет? Так? А смысл какой? Они там, быть может, помирились. Так? Быть может, не одну бутылку на бок положили. Значит, на выпивку мы уже опоздали? Так? Если не помирились, то с пустыми руками там тоже делать нечего. — Из ящика, вынесенного Чумаковым, зажав меж пальцами горлышки, вынул две поллитровки и сунул в свой портфель, потеснив там какой-то сверток. — Так? Значит, надо писать бумагу, ходатайство, по инструкции. Так? Честный, трудолюбивый, пользуется уважением... Так или не так? Жизнь, девочки, удивительно прекрасна, а мы ее не уважаем, не ценим, не оберегаем... Вот давеча — звонок из области. Прямо на квартиру! Так и так, предлагаем вам, Илья Егорыч, путевку в Сочи. Искренне благодарю и — радую жену: «Все, еду на курорт!» А она мне — мгновенно и кратко: «Только с вещами!» Ах, как мы, люди-человеки, портим друг другу прекраснейшие мгновения бытия! — Деловито пощупал пальцами подол

Катькиной мини-юбки: — Почем метр? По двадцать рэ?

Катька хлястнула его по руке:

— Денег не хватит! — А на ухо прошептала такое, такую цену, что она могла вызвать головокружение у человека более богатырского здоровья, чем у Вавилкина. И сменила гнев на ехидную улыбку: — Правда, будто вас серым волком продавщицы зовут?

— Гм, почему — серый? Скорее, седой...

— Да, говорят, вы в сельпо всех красных шапочек перекушали.

Вот сатана, а не Катька, и придумает же! Даже Оня улыбнулась, глядя на оторопевшего Вавилкина. Это было так непохоже на него! Неужто не найдет, чем уесть конопатую задиру?

Пошмыгал носом-кругляшом, вытерся полотенцем, затискал его в портфель. Нашел! Шелковой тонюсенькой ниткой прошмыгнула в губах ухмылочка:

— Не рядись, овца, в шкуру волка — собаки разорвут... Квиты?

Катька недобро сощурила глаза и приблизила лицо к Вавилкину:

— Это моя спецодежда, Илья Егорыч... чтоб кобели побаивались.

— Ладно, твой верх, — сдался Вавилкин и напустил на себя серьезность. — Будем бумагу сочинять. Так?

— Вам виднее.

— Верно, мне виднее, потому как я председатель сельпо, а не ты, у меня, а не у тебя, добросовестно трудится истопником означенный товарищ Чумаков. Так? — дотрагивается до Катькиной руки.

Она резко отстранилась:

— Так не так, перетакивать не стану. Вам с горы виднее. — Кивнула Оне: — Я скоро, на дежурстве отмечусь...

Вавилкин прошел с ней до калитки, возвратился, напевая:

Ты уж стар, ты уж сед.
Ей с тобой не житье...

Наблюдая за ним, Оня убеждала себя в мысли, что ничего путного для спасения ее отца Илья Егорыч не сделает. Она как-то вдруг разглядела его: юбочник, заядлый рыбак, охотник. Рассказывали: приезжая на охоту, он первым делом заглядывал в стволы ружья и притворно сокрушался: «Опять жена ружье не почистила!» Это только кажется, что он все может, всего добьется, на самом деле — вроде сухой соломы: пылу много, а силы — мало.

В своей неожиданной мысли она утвердилась, когда Илья Егорыч вместе с вышедшим Гринькой начал ходатайство сочинять. Из того же портфеля он достал бумагу, демонстративно пощелкал рычажками многоцветной шариковой ручки, выбирая, каким цветом писать. Выбрал красный.

— Пролетарский, — пояснил волновавшемуся Гриньке. — Стало быть, начнем. Доброе начало — поддела откачало. Так? Пишем. «Районному инспектору рыбохраны тов. Прохоренко...» Нет, «тов.» не годится, напишем полностью: «товарищу Прохоренко И. И.». Так? — Давил на бумагу усердно, словно через копирку писал.

Налил в рюмку, но удержался, оставил ее. Чертыхнулся в душе: лучше б не пил первую! Виновато взглянул на Гриньку:

— Кхе... На чем мы остановились? Так. «Правление сельпо направляет вам это хохотайство...» Постой! «Хо-хо-тай-ство...» Надо же, хохотайство! Было б в рыбинспекции хохотайство до умору.

«Голова может разболеться!» — Рассерженная Оня ушла в избу.

Вавилкин смотрел на бумагу, косил на рюмку, побрякивал.

— Продолжаем. Так? «Правление сельпо, если надо, берет Чумакова на поруки...» Так? «За десять лет работы истопником не было ни одного замечания... Получал благодарности и премии...» Так? Ух, чуть не забыл! «Принимал активное участие в общественной жизни».

Так! Указывать конкретно?

— Конечно, Илья Егорыч.

— Пишем: «Оформлял в канун праздников столовую и сельпо. Как-то: прибывал лозунги, вывешивал флаги...»
Слушай, а может, не надо про это?

— Не надо.

— Ты умный парень... Так... Расписываемся и... — Вавилкин долго копается в портфеле, поставленном на колени, достает круглую жестяную баночку с печатью. — И ставим круглую печать. Так? Все — «как в лучших домах Лондона». Верно? — Машет исписанным листом, словно парламентар белым флагом: — Мы — сдаемся, просим пардону. Так? А там — посмотрим. Верно?

— Верно.

— Слушай, — Вавилкин насторожился, — а ты, парень, еще к кому-нибудь заходил? Дело-то, знаешь...

— Заходил. У Митрясовых замок. Дядя Вася Логашкин куда-то уехал...

Никому Гринька не признавался, что заходил он и в больницу, подсознательно чувствуя, что выручить их, Чумаковых, может лишь Авдеич. Надеялся на то, что тот пришел в себя, сжалится, поймет. Слышал — он отзывчивый, справедливый. А на высококоватом больничном крыльце столкнулся с сыном Авдеича — Романом. Тот только что вернулся из поездки, руки его были в пятнах от машинного масла, одежда пахла бензином.

— Чего тебе?! — будто ремнем через всю спину стеганул. — Ах, к отцу! Мотай-ка отсюда, голубчик, пока я монтировку не взял в руки. Угробили старика, да еще и... Валяй, валяй! Шак-к-калы...

Так кончился визит к Авдеичу.

— Вот еще б товарищу Толкачеву позвонить, в район, — нерешительно подал мысль Гринька. — Он уважает папаню. С праздником иногда поздравляет...

— Это хорошо, парень, — ухватился Вавилкин. — Насчет товарища Толкачева — это хорошо. Позвонить

надо. И в область позвоним, там тоже не без добрых людей. И к Митрясовым сызнова. Митрясов — фигура на доске! Почти как ферзя. А о товарище Толкачеве и говорить нечего: и царь, как говорят, и бог, и воинский начальник. Так?

— Значит, беспокоиться не стоит, Илья Егорыч?

— Беспокоиться? Ишь ты! — Вавилкину просто смешна его ребячья наивность. Приподнял наполненную рюмку, показал Гриньке: — Вот идешь ты по дороге. Так? А тут кирпич лежит. — Он положил соленый огурец. — Так? Ты споткнулся об него и упал. Так? А рядом другой кирпич. — Он взял из тарелки и положил еще один огурец. — Ты об него головой. Так? Головой об него — и нет Гриньки Чумакова, убился Гринька к едреной бабушке. — Выпил из рюмки, поморщился, то ли от водки, то ли от невеселой картинки, преподанной парню. — Жизнь — сплошное беспокойство, Гриня. А помирать никто не хочет, хотя в могиле-то стопроцентный покой. Так? А носа не вешай! Эта бумага обведет вас с папанькой вокруг тех кирпичей... Вавилкин не забывает за добро — добром. Только наперед умнее будьте, поболее в ноги смотрите, чтоб не спотыкаться.

— Я, что ли, все это...

— Не ты! У тебя сколько в башке-то? Десять. Так? А у отца? Семилетка. Кто грамотнее? Ты. Так? Ну, это я к слову. Соображай.

Возвратилась Катька, протянула Вавилкину сложенный вчетверо листок:

— Иван Иванович просил найти вас и передать... Она дома? — спросила у Гриньки. — Скажи ей, я сейчас, еще одно поручение. Нарасхват...

Она ушла, а Вавилкин как-то вдруг необычно стал смотреть в развернутую бумажку, боком, по-птичьи, то одним глазом, то другим. Сдвинул назад белую капроновую шляпу, ноготками почесал лысеющее темя.

— Так-так-так... Н-да-с... Я ж сказал: хреновское дело. Ох, этот мне Крайнов! Ты послушай, парень, что

он пишет, послушай!

«Товарищ Вавилкин! На реке задержаны браконьеры Чумаковы... — Вавилкин взглянул на Гриньку, — браконьеры Чумаковы с большим количеством выловленной рыбы. Убедительно прошу поскорее организовать выгрузку ее и взвешивание, а также отправку в бригады, механизаторам. На берегу вас ждет... — опять взглянул на Гриньку, — вас ждет шофер рыбинспектора, с ним оприходуйте все. Пожалуйста, поторопитесь! Председатель сельсовета Крайнов».

Здорово озадачил Крайнов Вавилкина, морщился и кряхтел тот, словно в невыносимо тесные туфли влез. И что тут сказать Гриньке, который смотрит жалкими щенячьими глазами?

Вновь ногтями почесал темя.

— Н-но, что скажешь, парень? Не знаешь? Задача, парень, без ответа, нет ответа в конце задачника... Так-так-так! Шофер районного рыбного инспектора ждет? Значит, и сам Прохоренко И. И. уже здесь? Проворно служит, черт! Его бы снабженцем к нам, на полтора оклада. Уж коли он тут, то и участковый на месте, у этого тоже нюх развит, знает, где хвостом вильнуть, а где гавкнуть. Так? Тут он будет верой и правдой... Врезались вы с папаней, на мель выскочили. — Опять скосил око на записку, думаясь пожевал губами. — Вишь, какая забота, Гриня? Рыбу надо принять, в бригады отправить. Так? Да ты слушай, не вешай носа. Не вешай, тебе говорю!

— Д-да я... н-ничего...

— То-то! Я быстренько управлюсь и — в сельсовет. Вызволим твоего папаньку, вызволим, тебе говорю. Самый надежный мир какой? Навязанный, Гриня! Мы им навяжем мир. А ты-ка пока снова к Митрясовым сбегай. Митрясов — ферзя в поселке, без него не обойтись. Потом и к товарищу Толкачеву звякнем-брякнем. Так? Так. Самый надежный мир — навязанный мир... Не дадим себя в обиду, Гриня, не дадим!

Он застегнул на все пуговицы коломьянковый пиджак, мокрый веник пристроил в развилке куста сирени. Быстро ушел, деловито помахивая портфелем.

Гринька лег подбородком на скрещенные руки. Смотрел вверх лачужки Полкана, только ничего не видел. Точнее, видел Лену, такую, какую встретил, когда метался на велосипеде по поселку. Она шла навстречу в легком ситцевом платье, в босоножках, с веткой сирени в опущенной руке. Смотрела на него незнакомо и строго. Она подняла руку с веткой, видимо, что-то собираясь сказать ему, но он вильнул в ближний проулок и нажал на педали. Краем глаза успел заметить: Лена остановилась и глядела вслед, сделав брови шалашиком. Она всегда так делала их, если была чем-то обижена или огорчена.

Зачем, зачем он удрал от нее? Струсил? Побоялся в глаза глянуть? Как она презирает, наверное... Ничтожество, скажет!

Из лачужки выскочил Полкан, звякнул цепью, зарычал, глядя на калитку. В нее нерешительно втиснулся Артем. Гринька прицыкнул на пса. Оторопело уставился на Артема:

— Вы?

— Не похож? Оня дома?

— В избе. Позвать?

Но Оня уже выходила из сенцев. Гриньке показалось что в глазах ее кричало отчаяние.

— Оня! — Артем радостно и растерянно шагнул на встречу. — Поговорить надо...

— Надо ли? — не сказала, вышепнула сквозь сухие губы.

— Надо!

Она начала спускаться по ступеням, ставила ноги с такой осторожностью, словно ступеньки могли вдруг подломиться. А он стоял внизу с таким ожидающим, с таким взволнованным видом, будто хотел принять ее в объятья. Кто знает, может, и принял бы, да очень некстати возвратилась Филаретовна. Остолбенела. Оня

увидела ее гневные глаза и, повернувшись, быстро ушла в избу.

Филаретовна прошла мимо Артема, словно мимо пустого места. А он, недотепа, не нашел ничего лучшего, как сказать:

— Добрый день, мамаша...

Она со ступенек из-за плеча прошипела гусыней:

— Как-к-кая я тебе мамашшша! Марш отсюдава...
Ноги твоей, шагу твоего чтоб...

— Маманя! — возмутился Гринька.

— Вон отсюдава! — с ненавистью повторила Филаретовна, не слыша Гриньки. — Не то кобеля с цепи...

— Маманя! — придавленно взмолился Гринька.

Она опять его не услышала, повернулась к Артему вполоборота, мотнула рукой на дверь:

— Видал? На дух ты ей не нужен! Получше найдем!

Окинула его взглядом величайшего презрения и направилась в избу.

Артему стало не по себе. Значит, вчистую не ко двору? Значит, они — хорошие, они — из калашного ряда, а ты — суконное рыло? Может, действительно не стоило вмешиваться? Есть в бригаде Артема доморощенный оракул, учетчик Брыжа, он говаривает: «Никогда не вмешивайся в ход событий, потому как девяносто процентов проблем разрешаются сами собой, а остальные десять — все равно неразрешимы».

Удобная отговорочка! Особенно для трусов и лежебок, для тех, чья хата — всегда с краю. А ты, Артем, кто? Герой? Энтузиаст? Честняга? Нужен ты здесь такой, с тобой вон как... И понесла себя Онина родительница, словно сосуд, наполненный праведнейшим гневом, плеснет через край — берегись, глаза выжжет, в прах обратит.

Н-ну нет, расхорошая несостоявшаяся теща!

В два прыжка миновал Артем веранду, ворвался в кухню. Филаретовна поднялась навстречу с табуретки, но не испугалась его бешеных глаз (не

таковские видывала!), лишь бровь негодуя спрямила: эт-т-о еще что такое? Артем помотал перед ее лицом указательным пальцем, хрипло засмеялся:

— Будешь ты у меня, мамаша, любимой тещей! Буду я у тебя, мамаша, любимым зятем! Буду! — И опять бешено сверкнул глазами: — Лучше не лезь меж нами, мамаша. Не лезь!

Крутнулся и напрямиком, через горницу, в светелку, страшенно наследив по атласно сияющим половицам. Филаретовна не шагнула за ним. Снова опустилась на табуретку. С внезапным тупым равнодушием смотрела она на оставленные Артемом следы. Даже не силилась понять долгой тишины в светелке. Будь что будет...

А Оня испугалась Артема. Притиснулась спиной к стенке возле окна, даже приподняла руки к лицу, верно, ждала удара: лицо у него, глаза — не дай бог.

От розовых светлых обоев все здесь казалось лучезарно-розовым: и шкаф, и кровать с высоко взбитой подушкой, и столик с разной девичьей разностью на нем, и сама Оня. Словом — светелка.

Артем, чуток остывая, внутренне усмехнулся: ошибся, брат, тебе думалось, тут сейчас все черным обуглилось, слоем пепла покрылось. Ошибся! Трельяж над столиком вдвое, втрое умножил простор и розовую светлость комнаты, показал Артему и его — обхохотаться можно. Или выругаться. Об него, Артема, сейчас лишь ноги вытирать! В грязи, оказывается, только он. И обуглился только он: скулы черны и заострились, губы черны и потрескались, глаза запали, как у загнанной лошади... Хорош, одним словом, гожехонек, как говорят уральцы! Не зря Оня испугалась, когда ворвался сюда.

Если б знал Артем, о чем думала сейчас Оня, чего страшилась пуще всего! Она с отчаянием сторожила его скачущий по светелке взгляд. Что Артем сделает, что скажет? Господи, во имя какой корысти она принесла эти три коробки канцелярских скрепок! А эту дюжину ученических стиральных резинок! А стопу копировальной бумаги! А на кой ей было тащить ту

вязанку разнокалиберных карандашей! Зачем все это в доме? Да еще в таком количестве! Все несут. Что-нибудь да несут. Бухгалтерша списала почти новые плюшевые дорожки и не постеснялась расстелить их дома. Среди купленных в сельсовет канцтоваров были три дорогие авторучки — бухгалтерша и их унесла. Купили для уборщицы два ведра, им и цена-то семьдесят копеек штука, бухгалтерша все равно унесла. А Крайнов Иван Иванович и ухом не ведет, не замечает. Мелочи? Привык? Все, мол, несут? У отца десятка два лопат в сарае, а он каждую зиму еще одну-две приносит из сельповской кочегарки. Ходит на работу в казенной латаной-перелатаной, стираной-перестираной, давно списанной спецовке, а три новых лежат в чулане. Для чего? У него появилась любимая фраза: «По подходящей цене!» Это — когда бесплатно.

Все несут... Все ли? Да конечно же не все, далеко не все! Никогда, наверное, не возьмет чужое, государственное Артем. И Авдеич не понесет! А она, Оня, польстилась черт знает на что — все несут...

Увидел Артем эти дурацкие скрепки, эти резинки, карандаши, бумагу? Что подумает, что скажет, если увидел и понял, откуда они? Какой ничтожной, мелочной, мелкой она может показаться ему. Господи, что это за страсть появилась у людей: тащить, тащить, даже копеечное, тысячу раз ненужное? Хоть бы не увидел, не обратил внимания Артем! Оня соберет все, унесет назад и больше никогда...

Наверное, не увидел он. Или не осмыслил увиденное. Была б Катерина рядом, она б помогла...

Артем решительно распахнул одежный шкаф. Чего он там забыл? Плотная шеренга проволочных вопросительных знаков, высунувшихся из одежд, тоже удивлена: действительно, что ты здесь позабыл, парень, в девичьем шкафу?

— Все твое? — первые два слова произнес, из-за плеча глянув на нее.

Она промолчала, все так же втискиваясь спиной в

стенку. Ну да, сейчас с язвительной усмешкой спросит: на черта тебе столько? И правда, зачем? Для чего? Во имя какого престижа? Ладно бы книги — корешок к корешку, они модными стали, моднее всего. Сейчас все модным стало! Накопительство стало модным. Но книги почему-то — особенно. У Вавилкиных их сколько! Шкафы забиты. Сроду, правда, не видела, чтоб или сам Илья Егорыч, или его жена, или их дочь сохли над книжкой. Областную и районную газеты начинают читать с последней страницы, где некрологи печатаются: кто умер? Если знакомый, начинается обсуждение: как жил, чего достиг, чего нажил, кому все достанется...

А она, Оня, лучше? Они, Чумаковы, намного ли?..

— Чемодан есть? — рвет ее лихорадочные, торопливые мысли Артем.

Он сдергивает с вешалок и бросает на кровать Онины платья, кофточки, костюмы, и обнаженные, пустые плечики стыдливо покачиваются на своих проволочных вопросительных знаках.

— Зачем... чемодан? — хрипло спросила Оня, кажется, начиная понимать, что он надумал.

— Не повезу ж я тебя в одном халатике! Впрочем... Ничего не нужно! С нуля начнем. — Стал ходить по светелке взад-вперед, шляпа на затылке, руки — за спиной. — На пустом месте легче начинать. Как в городе, знаешь. Там, если строить на старом, — сколько всего разного сносить, сколько потом в новом жилье квартир выделять снесенным владельцам. А если на новом, пустом, — быстро, чисто и по своему вкусу. Доходчиво? — Остановился перед ней. — Начнем с нуля!

Оня отлепилась наконец от стены. Засмеялась незнакомо мелко, зло, с заметным облегчением:

— Как красиво! И какая самонадеянность! А теперь, выйди отсюда.

— И не подумаю!

— Кричать начну, тебе же хуже... Уходи.

Голос ее стал чистым, холодным, даже, показалось

Артему, с надменинкой. Она и сама не смогла бы объяснить, какой бес противоречия в нее вселился. Один голос кричал: «Что ты делаешь, глупая?!» Другой — торопил: «Прогони, скорее прогони, пока ничего не увидел... Потом, потом все уладится...» — «Но — зачем же так резко?! Зачем таким тоном?! Ты же рушишь последний мосточек! Остановись, глупая!..»

— Уходи, — повторила она, а сама не поднимала глаз, сама упорно смотрела на его грязные, истоптавшие всю светелку туфли. Прошла к столику, спиной закрыла все, что лежало на нем. Почему-то это для нее было сейчас самым важным, почему-то страшнее всего прочего казалось то, что он увидит и поймет, откуда скрепки, резинки... Если, мол, с такой мелочью, с таким, простите, дерьмом не расстается, крадет, то что можно подумать о большем... Увидит, поймет, оценит — тогда уж все, тогда — ничем не склеить... Нужно выпроводить!

— Уходи...

Он схватил ее за плечи, пригнулся, пытаюсь заглянуть в глаза — она отводила их, брови хмурила, ломала.

— Хорошо, — сказал он и повернулся к выходу.

В горнице остановился возле подоконника, на котором ожидало своего доброго часа толстое колесо торта. Вначале Артем непонимающе смотрел на чудо кулинарного искусства, на великолепные, словно живые, алые, чайные, белые розы из крема, потом осознал, для чего, для кого готовился этот прекрасный торт, криво усмехнулся и оборотился к Оне, застывшей в дверном проеме светелки. Очень ему хотелось сказать ей сейчас что-то резкое, язвительное, такое, как публичная пощечина. Увидел ее опущенные плечи, повисшие безвольно руки, нитку пробора в пригнутой голове — не решился.

Спросил дрогнувшим голосом:

— Окончательно решила, Оня?

— Уходи...

— Хорошо, Оня. Только я... не прощаюсь. Земля,

Онюшка, кругла, как бы мы ни бегали друг от друга, все равно встретимся. Не стыдно будет, Оня?

Она промолчала.

Потом Оня видела в окно, как Артем остановил пылящий грузовик, услышала, как спросил у высунувшегося шофера, не в райцентр ли тот, а шофер нетерпеливо мотнул головой на кузов: «Падай, падай скорее!..» И Артем «упал» в кузов, то есть впрыгнул и грудью навалился на кабину. Ни разу не оглянулся.

Тут-то Оня и дала волю слезам, ничком упав на постель, на кучу сброшенных с вешалок нарядов ее.

7

Пока Прохоренко вел в сельсовете далеко не дружественную и не теплую беседу с Чумаковым, Крайнов и участковый сходили в больницу. Возвратились ни с чем: Авдеич опять в забытьи. Посидели возле него, помолчали и вернулись. На вопросительный взгляд Прохоренко Крайнов вздохнул:

— Плохо.

Прохоренко кивнул:

— Понятно. Как видите, товарищи, случай не рядовой, браконьерство злостное, умышленное, с покушением на жизнь общественников. Поэтому я, товарищи, решил, что ограничиваться полумерами нам нельзя. Будем делать досмотр дома...

— Обыск? — подскочил Чумаков, и под ним всплакнули пружины старенького дивана.

— Досмотр, Чумаков, досмотр. Права рыбинспекции расширены, браконьерам нужно знать это.

— У ветерана? Орденоносца?! Обыск?!

Прохоренко эмоциями не прошибить, про таких говорят: как об стенку горох. Все тем же ровным голосом, с точками и запятыми, повторил:

— Досмотр, Чумаков, досмотр. Пристрастный. И речь в данном случае идет не о былых заслугах, а о злостном браконьерстве.

— Злостном?!

— Я, Чумаков, по крайней мере не сомневаюсь в этом.

— За такое оскорбление!..

— За свои слова, Чумаков, я готов отвечать.

Чумаков хлопнул ладонями по широко расставленным коленкам и зло рассмеялся:

— Завоевал ты себе почет и уважение, Чумаков, заслужил от родной власти, — и поклонился Крайнову.

Тот насупил свои пегие брови.

— Не паясничай, Ларионыч.

— За боевое прошлое — низкий вам поклон, Чумаков, — сказал Прохоренко, пожалев, что не надел три ряда своих орденских планок. — За настоящее придется отвечать. Вы ведь не на Нила Авдеича и Артема, вы на советскую власть, на ее законы руку подняли.

— Что ж, — угрожающе набычился Чумаков и, уперев растопыренные пальцы в колени, встал. — Обыскивайте. И стыдно вам будет, и отвечать придется за превышение!

Когда стали выходить, Крайнов придержал Прохоренко:

— Думаю, без меня обойдетесь. — Он отводил глаза. — Понимаете, неудобно мне, однополчане мы с ним...

— Моя хата с краю? — напрямик спросил тот. — На фронте у нас в роте самострел объявился. Односельчанин мой. Тоже хотел — вы воюйте, головы кладите, а моя хата, мол, с краю.

— Вы приняли участие в расстреле односельчанина?

— Труса, предателя, товарищ Крайнов! — И Прохоренко заторопился вслед за Чумаковым и милиционером — на одном бедре, под черным морским кителем, кобура пистолета, на другом — полевая сумка.

Крайнову невольно вспомнилось то золотое время, когда он был шофером, просто шофером. Сейчас ты — верховная власть на селе, ты ответствен за благоустройство, внешний вид поселка, за работу

колодцев, за благополучие одиноких пенсионеров, за поведение и труд депутатов, тебя приглашают при дележе разводящихся супругов, ты миришь поссорившихся мужа с женой, присутствуешь при регистрации и расторжении браков, облагаешь налогами, организуешь перепись скота в индивидуальных хозяйствах... Несть числа заботам и обязанностям председателя Совета. Сейчас вот, оказывается, ты непременно должен присутствовать и при обыске или, мягче выражаясь, досмотре в доме твоего фронтового товарища, твой отказ могут истолковать превратно...

Ничего другого не оставалось Крайнову Ивану Ивановичу, как вместе с другими вновь идти к Чумакову, идти к Анне Филаретовне, которая так просила: «Не будь жестоким... Не мсти!..» Завернул Прохоренко и Артема, прихватил Капитолину Ярочкину, охотно согласившуюся быть в понятиях.

Из грузовика Артем выпрыгнул где-то на третьем или четвертом километре. Вдруг поганно стало у него на душе, поганее некуда. Вспомнились переполненный автобус, схваченный им, Артемом, карманник, лица пассажиров. Подумалось, что и он, наверное, похож сейчас на тех пассажиров, прятавших глаза... И он, Артем, ублюдок! Девка дала от ворот поворот, ты и взъерепенился: черт с вами! Драпанул. Хотя тебя просили быть на месте, ты, мол, почти самое главное действующее лицо. Странноватый милиционер даже закинутую тобой шляпу нашел, неторопливыми ударами о колено сбил с нее пыль и протянул со строгой вежливостью: «Наденьте, нельзя так нервничать...»

А он драпанул. Дескать, я шибко гордый, не потерплю, чтоб даже самая раскрасивая девушка на меня косо посмотрела. И потом бросил всех, даже Авдеича, который, быть может, уже помер. Как ни крути, а получается, что ты нисколько не лучше тех, кто отвернулся в автобусе, кто не велел шоферу рулить в милицию.

В общем, вернулся Артем. И первым делом — в больницу. Его не впустили в палату, но порадовали: старик только что пришел в сознание, попросил пить, теперь есть надежда на поправку.

А сейчас вот вместе с остальными опять шел Артем к Онинному дому с редкостной радиальной антенной.

Все гуськом прошли во двор, а Артем не решился. Страшно ему было встретиться лицом к лицу с Оней сейчас, когда пришли с обыском: вот до чего дело докатилось! Сохой-пасынком отрешенно приткнулся к врывине калитки. Чувствовал себя здесь лишним — гармонь без планок. Автоматически отмечал: солнце помаленьку садилось, коровы с пастбища возвращались, у Дома культуры радиола наяривала, у забора набирались любопытные. Кто сочувствовал Чумаковым, кто — «так им и надо, ловкачам!»

Артем не встречал в эти разговорчики-перемывушки и не отвечал на всякую всячину праздных вопросов. Не реагировал даже на то, что на него иногда показывали пальцем и хихикали: «Онькин жених! Нарвалась Онька!..» Вспомнил, что за целый день и крошки в рот не взял, а есть не хотелось. Правда, заглянул давеча в сельповский буфет, но там, кроме слипшейся карамели да вчерашних пирожков, ничего не было.

Кидал глазами и туда, и сюда, а думами все время к Оне. Был почему-то убежден — смотрит она на него из глубины дома через тюль, смотрит скорбно и непрощающе. Только так может она на него смотреть. А почему, собственно? Почему — не наоборот? Виноватыми глазами должна смотреть, виноватыми! Что бы ни случилось, Оня не должна походить на отца. Она — как Гринька, измученный, издерганный, потрясенный... Да? Так? А кто тебя выпроводил? «Издерганная», «потрясенная?» То-то же. А если разобраться? Возможно, сам... не так, не с того начал, когда вошел в светелку? Надо было до разума ее добратся, до сердца, а ты — сплеча: собирайся и пошли! Будто ей это так просто — сбросить вещички в

чемодан и зарысить с ним вон, оставив мать, отца, брата, дом... Это для тебя Чумаков — такой-сякой, а для нее он — отец, родной отец, растивший, холивший, баловавший ее. И откуда у тебя, Артем, такая уверенность вдруг появилась, что она побежит за тобой?! Почему не допускаешь мысли: она — иная, она — в отца? И характером. И складом мышления. Сколько вы с ней знакомы? Что знаете друг о друге? Встречи ваши были встречами птиц: пощечете — и разлетитесь, пощечете — и разлетитесь. Настоящей оказалась вот эта, сегодняшняя встреча. Тут — не до сладкого щебета. Тут, Артем ухмылкой покривил спекшиеся губы, тут такая разноголосица — не дай бог...

Вызвать бы Оню — поговорить. О чем? Он виноват? А она? Разве не знала, чем ее отец промышляет?..

Не успел додумать свою мысль — Прохоренко окликнул:

— Артем! Товарищ! Что вы там стоите? Подгребайте сюда...

Артем так и сделал — «подгреб» ногами, еле-еле.

А за ним влетел Вавилкин. Он приделся: ядовито-оранжевая сорочка и голубой галстук — под цвет голубых брюк. Портфель тощ, бока его ввалились, как у теленка после тяжелой зимовки. Вавилкин потрясал белым листом бумаги, точно флагом:

— Отставить! Отставить, товарищи! Вышло сплошное недоразумение! Вот она, виновница, возьмите! — Он вручил рыбинспектору бумагу, тот долго читал ее и перечитывал, покачивая головой, а Вавилкин торжествовал: — И миру быть, и пиру быть! — Схватил руку Артема, с воодушевлением встряхнул: — Это даже полезно, дорогой товарищ, что ваша совместная жизнь начинается с проверки, с испытания! Сталь в огне закаляется. Так? А то вот пришли двое молодых в загс, их спрашивают: хорошо ль вы подготовились к столь важному событию в вашей жизни? Хорошо, говорят: три ящика водки купили, два ящика шампанского, отец кабана заколол...

Никто не улыбался вслед за ним, лишь Чумаков, чуть воспряв, ослабил, сторожа каждое его движение, каждое слово, видимо, побаивался, как бы он не перестарался.

— Ты чего это бисер мечешь, Вавилкин? — недовольно остановил Крайнов и — к Прохоренко: — Может быть, я все-таки уйду, право?

— Минутку терпения, товарищ Крайнов...

— Товарищи! — Вавилкин стал преувеличенно серьезным. — Шутки шутками, а дело... Только что звонил из района товарищ Толкачев. Он удивлен и возмущен. Так, сплеча, не взвесивши... Заслуженного человека! Просил прекратить. — На недоверчивый взгляд Крайнова выпятил, как кочет, грудь:

— Не веришь? — Мотнул рукой на подоконник: — Вон телефон! Кстати, товарищ Толкачев просил звонить ему прямо домой, если возникнет что.

— Позвоню!

Чумаков резанул Крайнова острым прищуром, процедил с презрением:

— Однополча-а-анин... — И ушел в дом.

Вавилкин настойчиво тыкал пальцем в телефон:

— Звони!.. Непременно позвони!.. На самом деле: из-за чего дым коромыслом? У Чумаковых изъято сто восемьдесят три кэгэ рыбы. Берите даже по рублю — сто восемьдесят три рэ. Так? Это что — повод для звона сабель? У нас Ларшина две тысячи рэ растратила. Так? И что? Внесла наличными растрату — и суд отпустил ее на все четыре... А ведь ее сумма в одиннадцать с половиной раз больше чумаковской!

— Демагог! — буркнул Крайнов и снял трубку телефона, долго стучал по рычажкам. — Алло... Алло... Люся...

А на крыльце эффектно объявился Чумаков. На нем праздничный костюм, по груди — ослепляющий блеск орденов и медалей. И сам он как бы помолодел, высветился изнутри каким-то вызывающе ярким огнем. И Артему показалось, что все смотрели на Чумакова

несколько оторопело и в то же время виновато. И еще подумалось Артему: красив у Они отец, суровой, мужественной красотой солдата красив.

Перед Чумаковым расступились, он не спеша, хозяйски прошел к воротам, вполголоса напевая. Удивительно может преобразиться человек, удивительно. Сейчас у Чумакова и голос красив. То был хрипловатым, грубым, словно бы надорванным бранью и перекалом страстей, а тут — мягкий, чуточку надтреснутый баритон.

Неизвестно для чего Чумаков на всю ширь распахивал свои высокие добротные ворота. Быть может, хотел подчеркнуть: вот он я, весь нараспашку, нет у меня ни перед людьми, ни перед законом пакостных секретов! Все смотрите, все! Словно вновь повторял сказанное в сельсовете: «И стыдно вам будет, и отвечать придется за превышение!»

Возвращался к крыльцу все так же не спеша.

Капочка виновато суетится, то прическу поправит, то оборки на кофте, а глаза откровенно постреливают на калитку, кажется, вот-вот подолом махнет и смоеется: пропади вы пропадом со своим досмотром, она ить шабриха Чумакову!

Крайнов стоит у подоконья, опустив на аппарат трубку, то ли сраженный преобразованием, великой самоуверенностью Чумакова и собственным падением (пришел обыскивать дом однополчанина, спасшего тебе жизнь!), то ли телефонистка не отвечала и ему надоело «аллокать». Плечи его приподнялись, а голова пригнулась, словно ожидал он удара или плевка в спину, и казался ниже ростом, уже плечами.

Вавилкин не ходил, а прямо-таки вытанцовывал возле крыльца, папироса в его редких охальных зубах вызывающе торчала вверх — выше бровей. Дескать, чтобы в моем сельпо работали такие-сякие проходимцы?! Чтобы у меня хромали подбор и расстановка кадров?! Да ни в жизнь Вавилкин этого не допустит! На то он и Вавилкин, на то ему и власть

доверена, на то тридцать лет трудовой жизни потрачено! Это вам не в носу ковырять!..

Вавилкину страсть как хотелось выдать придуманный им афоризм: «Накаляя страсти, не доводите их до кипения!» — но он воздерживался до поры. Что-то его удерживало. А можно было подбросить, когда Чумаков спокойно уселся за стол на веранде, сокрушенно покачал головой, произнеся: «Эх-хе-хе, люди!», налил рюмку, выпил. Очень кстати было бы вернуть афоризм, да вот что-то удержало.

— Ваша бумага задним числом написана, товарищ Вавилкин...

Голос Прохоренко прозвучал буднично и бесстрастно, как у опытного следователя, который, подобно настоящему шахматисту, видит на двадцать ходов вперед. Вот что мешало высказать афоризм о страстях, вот чего исподволь ожидал Вавилкин! Но он не стушевался, он лишь недокурок выплюнул, он изумление изобразил:

— То есть, товарищ районный рыбинспектор?

— Вы развращаете людей, товарищ Вавилкин.

— То есть и еще раз — то есть?

Прохоренко пощелкал ногтями по бумаге:

— Сегодня у нас начало мая. А здесь?

— Это — недосмотр, технический прокол, товарищ Прохоренко. Я завтра строгий выговор вкачу секретарю! С последним предупреждением! За то, что не отправила вам вовремя. Сев шел, у работников торговли все усилия должны быть брошены на всестороннее обслуживание тружеников полей! Так? А она — забыла отправить!

И пошел, и пошел Вавилкин кидать заячьи петли, напускать туману, видя, что Прохоренко закогтил его, крутит головой и сомневается, крутит и сомневается. А тут еще и Крайнов заинтересовался, ожил, встряхнулся, то в телефонную трубку, то — к ним, то в нее, то — к ним:

— Что это, Иван Иосифович?.. Алло! Квартиру

товарища Толкачева... Что за бумага?.. Да-да, Толкачева...

— Ходатайство сельпо. Просьба разрешить лов частичковых рыб. Якобы для общественного питания на посевной.

— Такое допустимо?.. Не отвечает? Хорошенько, девушка, позвоните. — И — снова к Прохоренко: — Допустимо?.. А кабинет, девушка? Попробуйте...

— Допустимо, в исключительных случаях. Но эта бумага датирована началом апреля, а сегодня...

Вавилкин с негодованием швыряет в ноги портфель, готов руки взвести к господу богу: будь свидетелем, всевышний, не дай сгубить невинную душу! Частит, сбивает рыбинспектора с панталыку:

— Я ведь что полагал?! Я полагал, бумага давно у вас, в инспекции. Так? А оно — доверяй, да проверяй! Так? Раз, полагаю, молчит инспекция, стало быть, не возражает. Молчание — знак согласия. Так? Ну, и... айда, говорю Чумакову, бери сети и корми славных тружеников полей свежей рыбой, вноси достойный вклад в дело досрочного завершения сева!

— Чумаков нам... совсем по-другому объяснял, — сдержанно вставил Прохоренко. Вдруг перешел на «украинську мову»: — Хай даже так. Хай. Ну, а як понять нападения на общественников?

Горестным, осуждающим взглядом повел Вавилкин на Чумакова:

— Как же это ты, Ларионыч, а? Помутнение? Как, а?

Они удивительно знали и понимали друг друга. Чумаков мгновенно воспользовался «шпаргалкой»:

— Так они ж, они ж... ни слова не говоря, с кулаками! А у меня контузия, нервный шибко. Источником с этого работаю.

Был он в том же праздничном костюме, так же перезванивались на груди его ордена и медали, но Артему уже не казался он мужественно красивым, вновь будто на берегу увидел он Чумакова, извоженного в глине, в рыбьей слизи, в чешуе, поблескивающей на

брезентухе новенькими гривенниками. Сплюнул: «Ну и живучи ж такие! Хоть вилами их к земле — вывернутся».

Толкнув рогами калитку, с той стороны остановилась корова, недоуменно протянула: «М-м-м?» Видимо, ее всегда встречали. Артем открыл ей. Она с тем же недоумением посмотрела на Артема, на весь незнакомый люд, пошла на задний двор, широко ставя задние ноги, распираемые большим тяжелым выменем.

Крайнов опустил на рычаги трубку, сказав «спасибо», и Вавилкин горячо подосадовал:

— Не отвечает? Жаль! Лично мне звонил...

— Не наоборот?

— Иван Ива-а-аныч!

— Ладно, — отмахнулся Крайнов и кивнул на Чумакова: — Что ж, отпустим?

— Конечно, Иваныч!

— С чистой совестью?

— Ведь свадьба, Иваныч, молодая семья рушится!

Артем смотрел на окна, смотрел на Прохоренко, что-то вполголоса спрашивавшего у Капочки, слушал перепалку устало, с новым наплывом безразличия, но при последнем восклицании Вавилкина рванулся к нему:

— Не трогайте!.. Неподходящая цена, дорогой... товарищ, не знаю, кто вы...

С великой укоризной посмотрел на него Вавилкин:

— Такую девушку терять... Из-за каких-то кэгэ рыбы!

— Тут не в кэгэ дело, Илья Егорыч. — Крайнов снова попытался дозвониться до товарища Толкачева, Артему подумалось, что он все-таки хочет переговорить с ним и, в случае чего, снять с личной совести всю эту катавасию, пусть, мол, вышестоящее начальство решает так или этак. Возможно, ждал разговора с Толкачевым и рыбинспектор? Что-то он не торопился со своим «досмотром». Типичная перестраховка. Донельзя все надоело Артему!

Крайнов перекинул трубку от одного уха к другому, из-под пегой брови целил в Вавилкина крохотным

зрачком:

— Вот ты тут насчет Ларшиной... Демагог ты первосортный!

— У Ларшиной, повторяю, две тысячи рублей растраты, а у...

— Ты отлично знаешь, сколько смягчающих обстоятельств в ее деле нашел суд.

— У ветерана Великой Отечественной Чумакова их нет?!

— Нет, товарищ Вавилкин! — жестко отрезал Крайнов. — У Ларшиной была непреднамеренная растрата. Судом она квалифицирована как халатность. Суд учел и то, что Ларшина мать троих несовершеннолетних детей. И, наконец, дело Ларшиной подпало под амнистию.

— Но ведь здесь кэзэ, Иван Иванович! Сто восемьдесят три, всего-навсего! Можем мы, в порядке исключения, или нет? Да и товарищ Толкачев...

Он отвернулся от Крайнова, пошел в сторону, к навесу, на ходу доставая папиросы. Артем слышал его негромкое: «Упрямство — вывеска дураков! — прекрасно сказано, жаль, что не мною...» Прикурил, щелчком отправил спичку в кадучку с водой, шикнув, она погасла. Толстыми струями выпускал из маленьких круглых ноздрей дым, смотрел на агонирующий за садом закат и вроде бы не обращал внимания на Филаретовну, собравшуюся с подойником к корове. Делал вид, что не обращает, а сам — весь слух и внимание, ни словечка не пропускал из того, что говорила ему Филаретовна. Понимал: Филаретовна не на шутку паниковала, у Филаретовны мысли в голове узлами вяжутся, кровь в жилах останавливается.

— Ты меня понял, Илья Егорыч? — шептала она. — Понял?

Еще бы не понять. Голым задом на горячую сковородку садились Чумаковы! Ну и пусть садятся, тюхи-матюхи несчастные, он, Вавилкин, с удовольствием огонек пошуровал бы под той

сковородкой.

Однако ответил ей злым коротким кивком, процеженным сквозь зубы «понял». Когда она ушла на задний двор, очередным щелчком он послал в кадку недокуренную папиросу, зашипевшую как змея.

— Одну минуточку! — сказал он всем и взмахнул руками, точно останавливал расстроившийся оркестр.

Поднялся на веранду и, растолкав коленками табуретки и стулья, взялся звонить все тому же Толкачеву. То ли более настырным, то ли более везучим оказался, чем Крайнов, но Толкачева он нашел. Громко, чтобы слышали все, доложил, что, несмотря на его, товарища Толкачева, просьбу не пороть горячки, в доме ветерана войны, орденоносца готовится обыск, который товарищ Прохоренко называет досмотром. Он, Вавилкин, звонит из дома, где сейчас должно сотвориться это вопиющее нарушение законности.

— Я вас понял, Николай Александрович... Крайнова или Прохоренко? Сейчас... Товарищ Крайнов, Николай Александрович просят вас. — И он передал трубку Крайнову.

Тот хмуро поздоровался и долго слушал, наклонив лобастую голову, под сдвинутыми бровями не видно было выражения его глаз. Все напряженно ждали. Артему казалось, что он слышит высокий тенор одного из руководителей района, видит его вдохновенно-аскетическое лицо, видит сивую челку, упавшую на белесую реденькую бровь. Артем не раз встречался с Толкачевым и на полевом стане, и на районной комсомольской конференции, и на празднике урожая. Прихрамывающий на раненую ногу, щупленький, неказистый на вид, он, однако, всегда был душой любого круга, потому что умел страстно, аргументированно говорить, удивительно заразительно, раскатисто смеялся, прекрасно пел. Причем начинал сам: «Споем, ребята!» И чистым красивым голосом запевал одну из популярных молодежных песен. И еще Артем знал, что Толкачев не ездит на курорты и в

санатории, предпочитает им рыбалку и охоту в родных местах.

Может, поэтому он отстаивает Чумакова, может, они кореша по рыбалке? Или из чувства товарищества бывших фронтовиков? Их, воевавших, не так много в живых осталось. И потом, конечно, в масштабах района случай с Чумаковым не ахти какое важное событие, чтобы из-за него столько шума поднимать. Будь ты, Артем, на месте Толкачева, тоже просил бы не поднимать бузы? В юности все максималисты, все не признают полутонов, полумер, но, будь ты постарше, будь на его месте, тоже отгребал бы в обратную?

«Поживем — увидим! — сердито отмахнулся от этих мыслей Артем. — Там вон, кажется, нашла коса на камень...»

— Вы считаете, Николай Александрович... — Крайнов выбирал слова, все так же упрямо угнув голову, — считаете браконьерство, нападение на общественников не стоящими внимания?.. Но тогда почему... На досмотре настаивает товарищ Прохоренко... Я? Поддерживаю... Хорошо! — Он оторвал трубку от уха, мотнул ею: — Иван Иосифович, вас...

Тот прошел к телефону.

Еще не слишком загустели сумерки на веранде, но Чумаков включил лампочку под дощатым потолком:

— В потемках и бога не увидишь! — Кивнул вслед Филаретовне, пронесшей полное ведро шипящего молока:

— Кто желает парного? Филаретовна, тащи закуску! Целый день не жравши, пустой желудок — злой желудок. Едим друг дружку бог знает из-за чего!..

— Я исполняю долг, Николай Александрович, — вклинился в его веселое балагурство упрямо-спокойный баритон Прохоренко. — Повторяю, я исполняю свой прямой служебный долг. Обязанности!.. А я считаю иначе, Николай Александрович... Я бы не советовал вам, Николай Александрович... Да... Да... Уверен... Готов нести ответственность... Да, готов! — Он так клацнул

трубкой по рычагам, что все поняли: поставлена точка. Или восклицательный знак. Филаретовна с закусками на подносе постояла и завернула обратно в дом.

Крайнов взглянул на Прохоренко:

— Полагаю, теперь я свободен?

— Да, спасибо за помощь, спасибо...

— Спасибо, однополчанин, спасибо! — язвительно подхватил и Чумаков. — А я еще хотел тебя посаженным отцом на свадьбе. Фронтовой друг!

— Не надо, Ларионыч. Не будем путать понятия дружбы и совести... Проглядели мы тебя, Ларионыч, проглядели. Вот за это, право, за это сам себе не прощаю.

Вавилкин направился было за ним, но Прохоренко остановил:

— Вас и вас, товарищ Ярочкина, прошу быть понятыми.

— Удобно ль, товарищ рыбнадзор, шабры мы, — заотказывалась Капочка для блезиру.

— Тем краще.

— Простите, увольте, ни за что! — Вавилкин ладонями отталкивал от себя воздух. — Увольте.

— Надо будет, без нас уволят, — сердито оборвал его Прохоренко и выразительно глянул на участкового. Тот был понятливым.

— Вы обязаны, товарищ Вавилкин, это ваш гражданский долг, — мягко сказал он и развел руками, так, чтобы Прохоренко не видел: дескать, не моя воля. Повернулся к Чумакову: — Прошу с нами, Матвей Ларионыч.

Чумаков вызывающе повел рукой:

— Сами! Сами, без меня осматривайте! Коль такие права у вас... У меня нет секретов. Филаретовна! Мать! Неси мне чаю сюда! Свежего завари!

Прохоренко будто не слышал его, тон его деловит, спокоен:

— Начнем, товарищи. Сарай, кладовки, чердак...

Вавилкин на минутку задержался, шепнул Чумакову:

— Я постараюсь, чтоб, ну... — И он сделал руками так, словно прикрывал что-то. Лишь после этого заспешил за проверяющими.

Больше всех суетилась, шныряла Капочка. Маленькая, нестареющая, она прошмыгивала туда, куда грузноватый немолодой Прохоренко, возможно, и не подумал бы заглянуть. У Чумакова бурело лицо, набирались на нем грубые складки.

— Ты что-то больно уж расшибаешься, шабриха. Больно стараешься. Поди, ничего плохого тебе не делал, а?

Капочка — круть к нему:

— И хорошего, слава те господи, не видала!

— Кормилась же...

— Ха! За свои за кровные, за рублики трудовые!

— Ну-ну, старайся, может, медаль повесят... — С тяжелой усмешкой поискал сочувствия у Артема: — Вишь, пригревал змейку на свою шейку... Никогда не делай добра людям, люди только зло помнят. Ты вот сделал мне зло, и я никогда не забуду.

Артем отвернулся. Неизвестно, кто кому большее зло сотворил!

В калитку раз за разом торкнулись, будто не видели язычка щеколды. Артем открыл, подумав: «Я, кажется, привратником становлюсь!» Вот те раз: Гринька забыл о щеколде! Шевельнул губами, наверное, «спасибо» Артему сказал, и не глаза у него были, а отпотелые темные окна. Видимо, очень близко все принимал к сердцу. Он увидел заглядывающих всюду людей, спросил с ужасом:

— Что это?

— Досмотр, — сказал Артем.

— Досмотр?! Обыск?.. Как же... как я забыл?! Как я?..

— О чем?

— Артем... Почему вы, Артем, позволили такой... позор такой? Зачем?

— Я? Н-ну, знаешь ли... Слушай, парнишка, пойдем отсюда, а? Нам здесь...

— Нет-нет! Артем, прошу вас, прошу... Будьте здесь,

будьте... Будет что-то страшное, Артем... Пожалуйста, Артем!

— Да не уйду я, не уйду, — успокоил Артем, недоумевая и глядя на Гриньку.

Тот, нервно озираясь, прошел по двору, направился было к ступенькам крыльца, да увидал отца, отшатнулся, опять стал кружить по двору, по саду.

Для Гриньки все рухнуло: небо, мир, вселенная... Он встретил, да, встретил Лену, когда шел к Уралу. Встретил потому, наверное, что Лена хотела этой встречи. Ему бы сказать ей что-либо, а он обомлел от неожиданности. Стоял и молчал, растерянный и, наверное, жалкий, ничтожный. Молчала и она. Смотрела на ремешки своих босоножек. Потом протянула ему сложенную бумажку и — ушла, убежала. Он смотрел ей вслед и страшился развернуть тетрадный листок. Это был приговор. Он и сейчас каждым словом, каждой запятой звучал в памяти, оглушающе хлестал по щекам:

«Гриша!

Мы с детских лет знаем и помним слова Чехова: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Я бы добавила: и поступки! Да, и поступки, Гриша. В первую очередь.

И еще я хочу процитировать тебе Гете: «Добро потеряешь — немного потеряешь, честь потеряешь — много потеряешь, мужество потеряешь — все потеряешь». Гриша, ты сегодня и честь, и мужество потерял. Струсил даже встретиться со мной. Раньше я видела и слышала только твои прекрасные мечтания о море, за словами я видела тебя — прекрасного, смелого. Глупая! Нужно судить по поступкам, за ними — человек, его лицо, душа, мысли.

А завтра мы войдем в один класс, сядем за одну парту. С какими глазами, с какими чувствами? Тяжело разочаровываться в друге. Еще тяжелее — терять друга. Прощай.

Лена».

Она тоже не права была, тоже! Зачем убежала, почему не спросила ничего, не сказала ничего? А что бы он ответил?! Что?! Это — тогда... А сейчас окончательно все рухнуло. Все! А у Дома культуры гомон молодых голосов, динамитные взрывы смеха, дружок Лешка гоняет радиолу. За калиткой, с улицы — выкрик хлопца:

— Катюш! Сеанс скоро начнется! Пошли!

Порог калитки переступила Катька, обернулась на выкрик:

— В гордом одиночестве сходишь. — Захлопнула калитку, смерила Артема взглядом: — Так и не поговорил, месяц ясный?.. Чумаковская порода! Что сказать ей?

— Ничего! — Сделал паузу, передумал: — Скажи... пусть выйдет.

Катька повертела пятерней возле головы:

— Какой-то ты... — Остро зыркнула туда и сюда, поняла, что тут началось, чем может кончиться, пошла, оглянулась: — Сейчас... «Живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий...» Горе ты луковое!

Влетела в избу.

А Оня не вышла. Не захотела? Стыдно? На душе тошно? Как-то Артем прочитал у одного знаменитого француза: «Любить — это значит смотреть не друг на друга, а смотреть вместе в одном направлении». А они с Оней смотрели друг на друга. Значит, в разные стороны смотрели. Так, Оня? Так, Антонина Матвеевна?

Зачем-то пробежала к палисаднику Капочка, повернула назад, задержалась напротив сидевшего за столом Чумакова. Жалостливо, с фальшью в голосе посочувствовала:

— Ох, шабер, беда-т какая, а! Сколько раз упреждала тебя...

— Катись, короста... Ты еще не знаешь, что такое беда.

— Ты меня не оскорбляй при исполнении обязанностей!

Чумаков весело осклабился:

— Дура ты, Капитолина.

Та задохнулась, аж кулаками засучила:

— Я? Я — дура? Слезами кровавыми ты у меня посмеешься! — погрозила Капочка, убегая к заднему двору.

— И почему люди так ненавидят друг дружку? — сокрушался Чумаков, опять ища сочувствия у Артема. — Когда победили фашистов, думали: ну, теперь братство меж людьми будет, теперь нам райские птицы будут петь. Вот Капитолина, ничего я ей никогда плохого, а смотри как вытворяется...

Артем молча отошел подальше, к навесу, присел на сиденье мотоцикла. Догадывался, что у Чумакова не только обида ворочалась в душе, в душе, похоже, росла тревога: что-то не так, где-то он, Чумаков, действительно оступился, коль так от него шарахнулись. Даже эта преподобная пустомеля Капочка, всю жизнь проработавшая билетным контролером в клубе, всегда подкармливавшаяся у Чумакова рыбкой!

Появился Вавилкин, присел возле кадучки на корточки, бурно закоптил папирсой. Плевал, смотрел в землю.

— Не переводи табак, Егорыч, ни черта они не найдут.

Вавилкин не ответил, даже не взглянул на Чумакова. И тот досадливо оборотился к двери:

— Филаретовна, я дождусь у тебя чаю? — Напустился и на Гриньку. — Чево ты крутишься перед глазами, как вертячий баран?! Ступай...

Паренек метнулся от веранды к навесу, Артем поймал его за локоть, притянул к себе, похлопал ладонью по лопаткам:

— Мужайся...

Филаретовна вынесла чай, Чумаков обнял чашку обеими руками, жадно отхлебнул. Пригласил Артема почаевничать, потом Вавилкина, ни от одного не дождался ответа и потихоньку выматерился. Верно, и Вавилкин собирается наострить лыжи от него,

Чумакова!

И тут началось главное. Участковый свалил перед крыльцом кучу капроновых большеячейных сетей, такими, сплывая на бударе по течению, ловят в середине мая севрюгу, стеной идущую из Каспия на икромет. Из чулана, где был набитый снегом погреб, появилась Капочка с невыносимо вызывающим видом. К груди, как детей, прижимала две трехлитровые банки. Медленно, торжественно поднялась по ступеням и стукнула ими об стол перед Чумаковым. Воткнула кулаки в бока, зыркнула на него победительно: ну, как?! Банки были с паюсной икрой.

Чумаков грохнул чайной чашкой об пол, дзинькнули в разные стороны осколки.

— Чего наделала?!

— Больно горячий ты, — тихо, но с неожиданным для нее озлоблением отозвалась Филаретовна. — И неча посуду колотить...

Он вскочил перед ней, топырил руки, задышался от бешенства:

— Я те, я те... Посадить решшила?

— Перекрестись!

— Почему ж... почему ж не спрятала, курва поганая? Почему не отнесла верным людям? Я ж в Совете тянул, задерживал...

— Откуда знать было, что тебя нечистая сила вместе с ними...

— А Гринька? Я ж ему, я ж сказал... На берегу еще!..

Филаретовна вздернула подбородок, посмотрела на мужа уничтожающим взглядом:

— Не беленись, коль сам наплутал. — Демонстративно ушла в избу.

— Гринька! — крутнулся Чумаков на месте и в два прыжка оказался возле мальчишки, цапнул за грудь, приподнял на кулаке, захрипел в лицо: — Я... я тебе сказал или... не сказал... чтоб все упрятали? Сказал или не сказал, щенок, а?!

— Я... я... я з-забыл. — Отцовский кулак, вместе с

накрученной на него рубашкой, подпирал Гринькин подбородок, приподнимал Гриньку на цыпочки. — Меня сразу к Вавилкиным, к... к Митрясовым...

Чумаков яростно замахнулся:

— Гаденьш!

Артем повис на его занесенной руке.

— А ну, дядя! — Отшвырнул Чумакова в сторону.

У того прыгал подбородок, глаза плакали, без слез плакали. Обессиленно упал на ступеньку крыльца, почему-то удивился, опять заметив сидевшего на корточках Вавилкина, как показалось, безучастного, всего окутанного табачным дымом, одна белая капроновая шляпа светилась сквозь дым. Сказал вяло, обреченно:

— Шел бы ты отсюда, Илья Егорыч.

Вавилкин встал с корточек, потянул за собой сизую пелену к Чумакову, крикнул огорченно:

— Эх, а! «Шел бы отсюда!» А куда? Прав не имею... Вот рыбнадзор с участковым не велят уходить. — Перед Прохоренко даже руками развел: — Как можно в человеке ошибиться! Я на него бумагу, я на него хохотай... Тьфу, черти б его видели, то ходатайство!

Чумаков трудно поднялся со ступеньки, ни на кого не глядя, взошел на веранду и бухнулся за стол.

— Айда, пиши протокол, рыбнадзор. Хватит душу потрошить...

— Где, у кого сети покупали?

Чумаков через силу ухмыльнулся:

— Верблюд колючек столько не сгрызет за жизнь, сколько я сетей перевязал. Чай, на Урале вырос.

— А вязка вроде бы заводская, Чумаков...

— Моя вязка, надзор, моя, приглядишь.

Внезапно он весь подобрался, расслабленные морщины лица обрели зримую жесткость, как два кривошипа, метнулись туда-сюда желваки под скулами. Он увидел потерянно блуждающего по сумеречному двору сына, свою «надежду», свое «продолжение». Обозлился на Гриньку (чего ходит, как в штаны

наложил!). И вновь стал прежним Чумаковым — насмешливо-злым, бесстрашным. Своим настроением он и Вавилкина приободрил, тот затер подошвой очередной окурок, взялся звонить в больницу. Радостно сообщил:

— Нил Авдеич пришел в сознание! Состояние значительно, врач сказал, значительно улучшилось. — И он потер ладони.

— Всякое в жизни бывает, — поддержал его оптимизм Чумаков. — А тут... бес попутал!

— Бес-то бес, а поворотка у тебя в лес, Ларионыч! — Откуда-то из сумерек двора впереди участкового шустро вынырнула Капочка, в свете лампочки на ее сбитой шестирублевой прическе серой тряпицей трепыхнулась паутина. Возле кучи сетей со звоном упало несколько концов крючковой снасти, брошенных ею. — Было-к подорвалась тащить... Экую страсть изготовил!

Прохоренко присел возле, потрогал крючья. Смазаны вазелином, чтоб в воде не ржавели, штук по сто привязано к каждому шнуру-хребтине, перехватывающему Урал почти от берега до берега. Страшная штука!

— Наготове, — говорит участковый. — Скоро севрюга из моря подойдет.

Капочка тоже пробует пальцем жало крючка:

— Страсть! Это за такую, поди, летось зацепился да захлебнулся мальчишечка?

— Позаботимся, шоб криминалисты сравнили ту снасть с этой. Состав стали, шнура, поводков, почерк изготовления.

— Вали в кучу, пинай с кручи! — негодуя отозвался Чумаков, ерзнул на табуретке, выругался шепотом. Замер сгорбленно, вглядываясь во всех исподлобья, словно запоминал до лучшего часа. Качнул седой гривой:

— Где правда, а? Столько добра людям делал... Теперь всяк норовит в морду пнуть... Не совестно, люди?

— Помолчи о своей совести, Ларионыч! Летошним

снегом истаяла, утекла.

У Чумакова глаза полыхнули огнем, но он промолчал, лишь люто смерил взглядом Капочку с тупель до прически с зацепившейся паутиной. Неуютно почувствовала себя Капочка под его взглядом, забеспокоилась:

— Ты чего, ты чего так-то зыришь?

— А-а, разъязви тебя!..

— Некрасиво, Матвей Ларионыч, некрасиво, — вступился участковый, снимая с Капитолининых волос паутину и катая ее в пальцах. — Нехорошо оскорблять женщин... Не она виновата в том, что вы...

Не договорил. И так, дескать, ясно, зато на Капочку взглянул с непонятной ей заинтересованностью. Действительно, чего это она так взъелась на «шабра»? Будто он ей ноги оттоптал в очереди за импортными сапогами или, того хуже, без очереди впереди нее вперся и забрал последнюю пару. Чумаков действительно ведь ничего плохого ей никогда не делал, скорее наоборот. Какие такие страсти-мордасти испепеляют ее, что она готова горячей спичкой лечь под чумаковский дом — гори он ясным пламенем?! За время своей милицейской службы на всякое насмотрелся участковый, но не переставал удивляться подводным течениям страстей человеческих. Бурлят они, бурлят где-то в глуби, в темноте, да как вдруг вывернутся наружу — впору лоб перекрестить, хоть сто тысяч раз неверующий.

Касается его новенькой звездочки на погоне Артем, просит позволения уйти, участковый не позволяет (сейчас будем протокол подписывать!) и теперь, пока Прохоренко пристраивается под лампочкой писать, начинает думать об Артеме. Чего лез в эту историю с географией? Нынче многие стараются сторонкой, сторонкой от всяких неприятностей и волнений, со стороны предпочитают возмущаться: куда школа смотрит? куда милиция смотрит? куда общественность смотрит? А общественность — кто? Да они ж сами, те,

что — сторонкой, сторонкой! Конечно, и таких, как Артем, немало, да все же порой кажется, что меньше. Отчего-то ленивы стали люди на отзывчивость, на доброту, на подвиг, если хотите. Чувство долга, совесть для многих — абстракция.

Ведь знали, что Чумаков промышляет на реке, а делали вид, будто не ведают об этом, в том числе и он, участковый милиционер. Ведал он, да не так просто в родном селе бороться с нарушителями, где в каждом доме то сват, то брат, то кум, то — школьный односум. А у них, почти у каждого, свои братья-сватья, свои односумы, вылетевшие из родного села в район, в область, в столицу, сейчас же вмешаются, заговорят руководящим басом, ежели кого запетлишь. Однажды начальник районного отдела сказал: «Не быть тебе генералом, Еремкин, даже полковником не быть!» Хех, будто сам начальник вот-вот генералом станет! Десять лет в подполковниках ходит — и никакой должностной перспективы. А он, участковый Еремкин, премного благодарен и за младшего лейтенанта, вполне прокормные должность и звание. До самой пенсии согласен на них, может подписку дать. Плохо ль, хорошо ль, только давеча Крайнов вроде как взбесился: «Я тебя разбуду, сурок участковый, ты у меня зарысишь, сбросишь жирок!» Хех, скажи на милость, будто сам на рысях денно и ночью. Ключнул жареный петух, вот и взвился. А ключнул-то кто? Авдеич! Новый человек в поселке. А еще кто? А вот этот Артем из райцентра, леший его вынес к тому берегу. Видно, и сам не рад случившемуся, за полдня на его, Еремкина, глазах высох, почернел: щека щеку ест, глаза багром не достанешь.

«Все мы тут снулые сурки, Иван Иваныч! — сделал неутешительный вывод участковый. — Вдали от главных дорог, от глаз районного и областного начальства. Все, дорогой Иван Иваныч! Подпалили нас с одного края, вот мы и зашевырялись, забеспокоились...»

Пока участковый философски осмысливал

случившееся, пока рыбинспектор мараковал над бумагами, пока Капочка, подсыпавшись к Артему, что-то ему объясняла, а Гринька все слонялся по надворью, Вавилкин уцепил Чумакова за локоть и притянул к себе, задышал в лицо:

— Не паникуй. Сиди, как летом в санях, — не раскатит, не выбросит. Чуть заря — мотну в область. Один звонок оттуда — и все... — Он выразительно сделал руки крестом. — Понял? Авдеича тоже обломаем. А этот, — прищурил глаз на Артема, — пусть женится. Не перечь им.

— На дух он ей не нужен!

— Нужен. Только горда уж больно. Посмотри, как извелась... Посмотри, как он к ней — в ноги готов бухнуться...

— Не из таковских вроде бы... Чего тебе, Антонина?

Она стояла в дверях сенцев, словно в черной траурной раме, глядела на отцовские награды. Брови прямилась — не подступись!

Сказала глухо, словно в себя:

— Зайдите на минутку...

— Ступай! — отмахнулся Чумаков.

— Зайдите! — громче, настойчивее повторила она, не спуская глаз с наград.

Он сообразил, смешался. Стащил с себя пиджак, бросил Оне, она ушла, так и не глянув на Артема, ожидавшего хоть короткого взгляда, хоть движения брови в его сторону.

— У него, сдастся мне, еще один погребок есть, — деловито сообщила Прохоренко Капочка, оставив Артема переживать неприступность Они. — Вон там...

— Помогите, товарищ, Ярочкиной, — попросил Прохоренко участкового.

— Вдвоем? — нерешительно приостановилась Капочка. — Так уж темно...

— С милиционером не страшно.

— Не о том я, товарищ рыбнадзор. Он все ж таки мужчина, а я — женщина. У нас тут знаете какие

сплетники...

— Вон товарищ Вавилкин с вами пойдет.

— Кому она нужна? — возмутился Вавилкин.

— Не оскорбляй, Илья Егорыч, я женщина честная!

— Сходите, товарищ Вавилкин, — улыбнулся Прохоренко, — да будем закругляться...

Трое ушли в отдаленный сарай, там вспыхнула лампочка. Она точно дала условный сигнал: в кустах сирени, рядом, близко, вдруг щелкнул раз, другой и рассыпался звонкой, радостной трелью соловей. И давай выщелкивать, высвистывать, и давай! Прохоренко писать перестал, замороженно голову вскинул:

— Какой веселый хлопчик! Залетный?

— Нашенский, — с теплотой в голосе отозвался Чумаков. — Вернулся из заморья.

— Удивительно. Просто удивительно: тут — соловей!

Стронулся на своем месте Артем, подошел ближе, съязвил:

— Может, это соловей-разбойник. Вроде хозяина.

— Эх, парень, — недобрый, запоминающим вздохом ответил Чумаков, — востер ты, шибко востер. Ну, ничего, жизнь обломает твои колючки, гла-а-аденьким станешь.

— Не стану, Матвей Ларионыч. Я из другой породы.

— Бессребреники?

— Просто порядочные.

— Из-за паршивого чебака столько всего... Урал извеку кормил казака.

— Я, Матвей Ларионыч, слышал от стариков, какие прежде порядки устанавливались. Говорят, во время хода рыбы на нерест к Уралу даже подходить запрещалось, разговаривали на берегу шепотом. Было такое?

— Эка, вспомнил!

— Приходится вспоминать, когда вот так... сетями, крючьями, петлями, динамитом.

— Другие, Артем, поболее хапают, да ничего. На Каспии вон даже с вертолета белуг гарпунили, да

нарвались на такую, что и самих в море кувыркнула. С вертолета, Артем! Вертолет в море бултыхнули! А ты... Пошарь: в каждом дворе, поди, такую снасть, как моя, сыщешь. Только энти похитрее, на рожон, как я, не прут... — Помолчал, прислушиваясь к соловью. — Эка развеселился, поганец! Такая малая птаха, а какую большую красоту, скажи, делает. — Опять помолчал, сказал с горечью, которая кривила его губы, в уголке рта высвечивала железо зубов: — Разве мы люди? Друг у дружки из пасти рвем, топчем друг дружку, как тонущие бараны.

— Это вам так кажется. Потому что через ячею сети смотрите на мир. А посмотрите на Гришу... как он мается...

— Перемается... Это все, как ее, ну что росту дает, а в коленках — слабо, гнутся.

— Это у кого гнутся, не у тебя ль, Ларионыч? — высеменила из тьмы Капочка.

Чумаков отмахнулся, точно от мухи:

— Кыш!.. Вот, Артем, баба: и в двадцать — Капочка, и в пятьдесят — Капочка. В двадцать была дурой, и в полста не разбогатела. А я ей... Не зря сказано: лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

— Моли бога, Ларионыч, что я при исполнении обязанностей! — выкликнула оскорбленная Капочка. — У кого есть спички? Дымил-дымил Вавилкин в дверях, а хватились — пятки намылил. Поди, с перепугу медвежья болезнь напала... А в погребе том тьма египетская, сам черт ногу сломит, а другую вывернет! А тебе, Ларионыч, отрыгнутся твои подлые слова! — Взяв спички, она скрылась.

Чумаков вроде и не слышал ее угрозы. Что Капочка, когда сама власть коленкой придавила. Да и что может быть страшнее случившегося? То, что принесут сейчас из того погреба двухведерную кастрюлю с засоленными лещами и воблой, уже ничего не добавит.

Загустевшие сумерки сглаживали грубые черты его лица, ступшеывали прямую, жесткую складку рта. И

захотелось вдруг Артему представить себе Чумакова человечным, понятливым, располагающим. Сидеть бы с ним как сыну с отцом, на крыльце, слушать вечерние звуки (соловей поет-расстарывается, радиола заливается, где-то девчата хохочут), не спеша балагурить о былом и о сегодняшнем, заглядывать в завтра...

Но близко за темными окнами была раздавленная бедой, позором Оня. По двору тенью, будто помешанный, слонялся Гринька, всем телом дергаясь от внезапно возникшей икоты; на больничной койке метался в горячке Авдеич. И где-то рядом, возможно, в избе наискосок, материнские глаза до сих пор не просохли, оплакивая сына-подлетка, захлебнувшегося на придонных коварных крючьях браконьера.

Качнулся Чумаков к Артему, по-хорошему, понимающе в лицо заглянул:

— А все ж душа не на середке, да? Переживаешь? Упреждал я тебя, просил... Помнишь, поди?

Вскипел Артем:

— Идите вы!

И ушагал к распахнутым воротам. Почувствовал, как под левым веком какой-то мускул стал дергаться. Потер пальцами, спиной повернулся к окнам, к дому: скорей бы Прохоренко закруглял эту катавасию! Все измаялись. И больше всех, быть может, Гринька. Ничего подобного, даже отдаленно, он не переживал за свои семнадцать.

Так может ходить, ни на что не обращать внимания только заболевший человек. Гринька ни на минуту не останавливался, не присаживался. Ходил и ходил, ходил. Временами зажимал руками уши. Ему казалось, что в них, включенные на полную мощь, гремят сразу три магнитофона с разными записями, накладывающимися одна на другую. От них голова раскалывалась.

«Извеку чужеед, на чужих хлебах норовит!» — мученически хрипит голос Авдеича.

«Здесь... экзамен на аттестат зрелости сдаешь? — бьет по перепонкам накаленный гневом голос Артема. —

Погань ты — вот кто ты есть...»

А над ними, среди них, сбиваясь, волнуясь, горюя, — Лена: «Гриша, ты сегодня и честь, и мужество потерял. Ты все потерял... Тяжело разочаровываться в друге. Еще тяжелее — терять друга. Прощай».

И со всех трех магнитофонов эхом звучало, удаляясь, повторяясь: «Прощай... прощай... прощай...»

Как и предполагал Чумаков, кастрюлю с рыбой принесли и поставили возле сетей и крючьев. И Прохоренко пригласил подписывать протокол. Первому предложил Чумакову, как «главному действующему лицу». Тот прочитал, отодвинул от себя:

— Не-е, рыбнадзор, не подпишу, не-е! Напраслина тут! Я ж говорил, они первыми напали, Артем, то есть, с Авдеичем. Я оборонял жизнь свою и сына, самооборона, стало быть. — Он облапал Гриньку за плечи, ища в нем подмоги своим словам. — Ухлопали б к едреной бабушке! И не браконьерничали мы! Сельпо послало. Для общественного питания. Напраслина!

Гринька вырвался из-под его руки.

— Зачем... врать, папаня?! — Его продолжала бить икота. — Мы начали... Зачем врать?!

У Чумакова челюсть отвалилась, глаза, уставленные на Гриньку, полезли из орбит. Он хотел что-то сказать, выкрикнуть, но кадык ходил вхолостую, не мог вытолкнуть ни слова, ни полслова. Наконец повернулся, посмотрел на всех, перевел дыхание:

— Это что ж... Люди... Это... Отец — врет... Змееныша вырастил, люди...

— Хороший хлопец растет! — громко, с удовольствием сказал Прохоренко. Передвинул акт по столу к Гриньке: — Читайте и — вот здесь...

Лампочка хорошо освещала стол, акт на нем, но Гринька спотыкался на буквах, тыкался то в одну строку, то в другую.

— Вслух читай, чтоб все слышали, какую небыль подписываешь, иуда! Да выпей воды... Разыкался!

Гринька вздрогнул от выкрика, но на отца не

взглянул и вслух читать не стал. Кое-как складывал написанное рыбинспектором воедино:

«...при задержании общественниками браконьеры... оказали... яростное физическое сопротивление... Покушались на жизнь... тяжело ранен... У браконьеров Чумакова М. А. и Чумакова Г. М. изъято...»

— Подписывай, сыночек родимый, подмахивай!

Каракули, а не роспись оставил Гринька на бумаге. Пошел, цепляясь ногой за ногу, на заднее подворье. Вслед даже Капочка сочувственно качала головой.

— Может, не вносить бы его имя сюда? — хмуровато глянул на протокол Артем.

— Для профилактики, — успокоил Прохоренко. — За все батька ответит. И за браконьерство, и за нападение, и за малолетка...

Чумаков сел на табурет, весь сжался, напряг мышцы, ладони меж коленей потер, словно разогревая их. Шильцами зрачков покалывал Прохоренко.

— Неужто посадите, рыбнадзор, а? Ветерана войны...

— Суд будет решать.

— А все ж таки. Сколько могут дать?

— И два года, и пять лет могут, батя, — снизошел до пояснения шофер рыбинспектора, подъехавший к двору и вошедший в него. — Полчервонца.

— Неужто пять, а? Пять, стало быть?

— Суд решит...

— А если я ухлопаю... удавлю... этого? — Чумаков боднул головой в сторону Артема.

— Бодливой корове бог рогов не дает, — спокойно сказал Прохоренко, засовывая в полевую сумку бумаги. — Меня уж сколько лет пугают такие, як вы...

— Я его — беспрременно. Не будь я Чумаковым...

С необычайной легкостью выдернул из-под себя табуретку и ринулся на Артема:

— Г-гад!

Его схватили, удержали, отбросили табурет.

— Может, вас связать, Чумаков? — строго спросил участковый, поправляя фуражку и форменный галстук.

Шофер сбрасывал в мешок снасти и делился наблюдениями:

— Браконьеры, скажу вам, на одно лицо. Мать родную не пожалеют.

— Иуды — тоже одной масти! — люто огрызнулся Чумаков. Оттопыривая локти, полусогнувшись, он медленно повернулся в одну сторону, в другую. Глазами, словно мерцающей стальной косой, вел. Вдруг гаркнул в избяную дверь: — Оня! Онька!

Гаркнул и закашлялся, сорвал голос.

Велика была его власть над всеми живущими в этом большом черном доме без единого огонька внутри. Оня показала, вышла из темных сенцев, за ней мелькнуло лицо Катьки. Чумаков кашлял и тянул руки к Артему:

— Хорош?! Я б твоего хорошего... своими руками... Меня... в тюрьму... Гриньку... Я б твоего...

Клацали его зубы, на губах пузырилась и лопалась слюна. О, видно, не зря остерегались в поселке связываться с ним!

— И что вы, папаня, кричите? Зачем вы кричите, когда мы сами кругом виноватые?

Очень тихо, почти шепотом выговорила свои слова Оня, а слышали все. Прохоренко обернулся от стола и даже подвинулся, как бы желая уступить ей место рядом. Чумаков ушибленно смотрел на дочь, дышал всем ртом.

— Ты?! И ты...

Из глубины сенцев — высоковатый, подвзвинченный голос Филаретовны:

— Оня! Онька! Ступай в избу... Неча с ними... Имей гордость...

Оня, как волной, повела плечами. Точно сплескивала с них материн оклик. Поверх головы отца встретила взгляд Артема. Минуту, может, больше, глядели они друг другу в глаза, не замечая установившейся вокруг них понимающей и сочувственной тишины.

Оня медленно спустилась с крыльца. Возле Артема чуть замедлила шаг, направилась к калитке, но вдруг

свернула к распахнутым на реку, на ширь заречную воротам. Ушла в светлые майские сумерки. Артем почему-то взглянул на первые звезды-лопанцы, растопыренной пятерней откинул назад чуб и рванулся туда же, за Оней. Кинулась за ними и Катька, да у ворот остановилась: зачем? третий — лишний! Засмотрелась на молодой яркий месяц, изогнувшийся над рекой подковой счастья.

— Онька! — запоздало завопил Чумаков. — Убью, стерва!

— Слава те господи! — порадовалась Капочка.

Прохоренко захлопнул полевую сумку, надел морскую фуражку, лежавшую на краю стола, поправил кобуру пистолета. Пошел с веранды.

— Успокойтесь, Чумаков, — сказал осуждающе. — Спасибо, товарищи, за помощь. Вам, Чумаков, придется пройти со мной к машине.

Тот опешил:

— К-как? Уже? Сразу — поехали-повезли?

— На этом я настаиваю, — хмурился, казал власть участковый, отворачивая от Чумакова взгляд. — Отягчающие обстоятельства.

Этого Чумаков, конечно, не ожидал. Дурак, бузотерил тут, страхи нагонял, себялюбие тешил! Дурак! И Вавилкин дураком назовет. Из головы вон его наказ: «Не паникуй... Сиди, как летом в санях... Чуть заря — мотну в область. Один звонок оттуда — и все...» Дурак — и дурь выставлял. Дураков не сеют, не жнут, они сами растут... Когда увезут, когда прокурор ордер на арест подпишет, когда начнут следствие — тогда вдесятеро труднее остановить все. Болван, тупица, самодур чванистый... От веку известно: ласковое теля двух маток сосет. А ты всех решил запирать. И получил по рогам!..

Чумаков странно рассмеялся, точно заплакал, озадачив Капочку. Прочищенным голосом зычно крикнул в дом:

— Филаретовна, собирай сухари! И пару белья! — Приблизился к Прохоренко, шепотом: — А туда...

можно? Куда царь пешком ходил... Не убегу!

Капочка, конечно же, его услышала и мигом истолковала:

— Тоже медвежья болезнь напала, как у Ильи Егоровича?.. Ох, как я тебя боюсь, Ларионч! Не ворочай бельмами, не щерься, ровно пес!.. Ну, я пошла, товарищ рыбнадзор, у меня еще корова не доена...

И семенящей побежкой заспешила к калитке. Весь ее вид как бы говорил: я исполнила свой долг, вы теперь уж сами тут...

— Можно? — повторяет Чумаков, но уже другим тоном, встревоженно вглядываясь в глубину подворья.

Заскулил, жалобно тьякнул Полкан и вдруг завыл — жутко, протяжно. Чумаков кинулся к заднему двору, к саду. Той же минутой там возник дикий, нечеловеческий вопль, даже не вопль... «Э-э-э-а-а-а-а!..» От этого звука прознобило спины, задрожали, казалось, сумерки, струнулись звезды. Молчаливым, стаптывающим все табуном ринулись туда.

Возле турника орал Чумаков и пытался оборвать витой капроновый шнур, на котором повис, еще чуть подрагивая в петле, Гринька.

Прохоренко щелкнул раскладным охотничьим ножом, но и ему не вдруг удалось перехватить удавку, — она была из того крепчайшего шнура, что плетут браконьеры на хребтину страшной крючковой снасти.

С Гринькой на руках Чумаков поднялся на веранду, положил сына на стол, покрытый белыми льняными скатертями. Прижался к его груди лицом и утробно, хрипло рыдал:

— Гриня... Гришенька... сынок...

— За врачом. Быстро! — крикнул своему шоферу Прохоренко, оторвав наконец Чумакова от Гриньки.

А в темноте все нащелкивал, насвистывал соловей. И жутко выл на дворе Полкан.